

## Прощание в Стамбуле

1

Я маленький шрам на пестрой шкуре Стамбула.

Я лежу на сыром от дождя и моря пляже Стамбула, и чайки перелистывают меня, словно брошенную книгу. Я отсырел, и глаза мои слипаются, как листья, и нет в этом мире ничего, кроме серого низкого стамбульского неба, мокрого серого стамбульского пляжа, и чаек, белыми пятнышками осыпавшими его. И меня. Я лежу на мокром песке, вспоминая, сколько раз и где я лежал так: когда по мне стекала вода, и волны, даже если они и далеко, доползали до меня и за ноги подтаскивали к морю. Сколько раз это было? Я перестал считать.

Мы лежим на диване, и по нам стекает вода.

На самом-то деле мы лежим на самом краю Океана. Мы перестали бороться с волной, и нас выбросило на берег. Мы лежим на мокром песке, мы лежим в убывающей, но все же воде, и сверху по нам течет вода. Мы мокрые, как два недавно выбросившихся на берег кита. Потерявшие ориентацию Голиафы, на которых Давида не нашлось. Голиафы, ставшие для себя Давидами. Побезденные собой Левиафаны.

Мы выбросились на берег - каждый по своим причинам, - но оказались рядом, вместе. Мы оба мокрые, а это сближает. Особенно если вы – выбросившийся на берег кит, который слишком тяжел, чтобы вернуться обратно в Океан по своей воле. Что ж, остается ждать. Что-то да случится. То ли кожа высохнет, и мы умрем, то ли прилетит сумасшедший «Гринпис» на своих вертолетах, чтобы засунуть под нас огромные носилки, тяжелые сети, и спасти нас, спасти от этого берега, песка и ветра, которые сейчас ласкают, но скоро – убьют.

Я поворачиваю голову и с интересом оглядываю ту, что оказалась со мной, на этой отмели. Как она попала сюда и почему лежит рядом со мной? Сбой системы навигации? Сама выбросилась? Заплыла на отмель полакомиться рачком, да забыла уйти с отливом? Приступ необъяснимого бешенства? В любом случае, добро пожаловать. Я вижу тяжелый мокрый затылок, поросший жесткими красными волосами. Она чувствует меня - среди китов такое встречается повсеместно - и поворачивается ко мне лицом. Так близко, что я не вижу глаз. Только губы. Мясистые и благословенные, они глядят на меня.

Мы улыбаемся друг другу: я и губы.

Мы думаем об одном и том же. Подмога придет нескоро. Поэтому будь что будет. Нам еще не слишком страшно. Мы уже не в Океане, но еще не утратили связи с ним. Ритмичный стук его утробы бьет в нас волной, как сердце матери – в уши выскользнувшего из плена ее живота младенца.

Мы вылетели на берег умирать, но мы еще живы. Океан стучит нам, и мы не забыты. Слыша этот шум, этот стук, я зачарован. И говорю, пытаюсь подладиться к ритму этого Океана, своего сердца:

- Я люблю тебя, Яна.

Конечно, про себя. Потому что не уверен. Точнее, уверен в том, что не люблю.

Она, глядевшая мимо меня на пену, - на передвигающийся с волной край прибоя, конец нашего Океана, - соскальзывает с моей руки и идет в ванную. Уходит, щекоча волосами, оставшимися в постели. Я гляжу на нее, сначала на тело, потом на тень, падающую из коридора в комнату, затем – на шум плеска воды и глухое бессвязное пение. Тресканье, щелчки, обрывки слов. Так поют между собою киты. Комната заполнена желтым светом, отраженным с улицы не успевшей опасть листвой.

Осень в разгаре.

2

Оба мы киты. Большие млекопитающие с малым мозгом, неспособные объясниться друг с другом словами. Вся наша кровь ушла в тело, не в разум. Мы прекрасны внешне: я часто люблюсь нами в стекле ее окна за приоткрытыми жалюзи. Ее тяжелой, как у всех китов, головой на фоне балконного стекла, когда мы пьем кофе на кухне перед тем, как пойти в спальню. Белый халат на ней – как пена волны. Редкие прыщики на коже лица выступают в густом вечернем воздухе, словно маленькие наросты-колонии паразитов на блестящей коже кита. Ночной воздух летнего Кишинева колыхается, как океан, мы молча пьем кофе, пересвистываясь дыханием.

- Я, наверное, люблю тебя, Яна...

... хочется сказать мне ей, но мы оба уловили бы фальшь в этих звуках. О любви речи не идет. Мы спим не так долго, но уже этого достаточно для того, чтобы понять – между нами нет штампа, в любовных романах именуемого искрой, отчего эти романы прочно связаны в моем воображении с колесами поездов, высекающими из рельсов огонь. В то же время, мы столкнулись, и ничем - кроме ошибки в навигации, приведшей двух потерявших ориентацию особей друг к другу, - я этого объяснить не могу.

Мы проделываем весь комплекс необходимых упражнений, мы дети даже не двадцатого, а двадцать первого века, и нам хорошо. Хорошо, но не более того. Она как раз была в промежутке между двумя романами, а это давало свободу. Формально я еще был женат, но это не лишало меня свободы, потому что моя жена, Елена, за два месяца до нашей встречи подала документы на развод. В общем, все совпало в наших возможностях тратить вечерние часы по нашему же усмотрению.

Она могла принимать в любое время, но предпочитала забивать вечерние паузы в те часы, когда сумерки еще не темнели настолько, чтобы считаться ночью. Да, она забивала мной паузы, я полагаю, и это меня совершенно не смущает. Что делал ей я? Не знаю. Секс? Ну, это само собой, это правило хорошего тона нынче, думал я, глядя, как она, прикрываясь халатом, встает с дивана – спать с тем, кого ты хочешь попросту узнать. Сейчас и не попробуй узнать без секса – это воспримут как скрытую издевку, завуалированное, – и потому двойное, - оскорбление.

Она прикрывалась и выходила из комнаты. Стеснялась своей полноты. Напрасно. Я благодарен ей за то, что научился любить женщину такой, какая она есть. Что нормы нет. Что свисающий живот это ерунда, и мягкая его складка может быть не только жупелом для молодого мужчины, вроде меня, в относительно хорошей форме, но и тем поручнем, ухватившись за который, ты, лежа на женщине, въедешь в рай. Ну, или хотя бы покинешь чистилище. Что целлюлит это, оказывается, то, что раньше называлось ямочками на бедрах и очаровывало. Что лишние двадцать килограммов женщине не помеха, чтобы избирать и быть избранной. Но все-таки секс был не тем, из-за чего я шел к ее белеющему в светлых еще сумерках дому.

Я просто приходил к ней, словно кит, которого зовут сигналы другого кита. Еще не видного в толще воды, но уже зовущего. Брата по крови, или, если вспомнить о том самом, что делало нас различными, сестры по крови. И разуму. Она свистела, щелкала, булькала, и сигналы доходили до меня даже сквозь толщу двух километров, разделявших наши дома. Странное спокойствие охватывало меня, едва я подходил к ее дому.

Да и внешне мы напоминали китов. Большие, с мягкими животами, полными ляжками, тяжелыми руками. Иногда, глядя, как ее голова влажно скользит по мне, я замечал часы в виде штурвала, висевшие на стене ее комнаты. И слышал шум

моря, явственный шум, и превращался в кита, и ждал, что мой член в ее рту разгорится фосфоресцирующей зеленью китового пениса.

Больше мне сказать о ней нечего.

3

То есть я мог бы говорить, говорить и говорить, но это уже было бы неправдой. Потому что есть в отношениях между людьми и китами, - наверняка уж у них то же самое, коль скоро мы все похожи, и матери кормят их, как и нас, молоком, - стержень. То, что их и держит вместе некоторое время. И только это существенно. Остальное же ерунда и попытки забить пространство лишними сигналами. А это преступление. Потому что шумовые помехи, в виде ненужной болтовни, мешают прорваться к адресатам действительно важным сообщениям.

Про стержень я сказал всё.

Этот раз был последним. Через неделю, как обычно мы не могли встретиться, потому что я был приглашен на важную встречу. Еще через неделю она вернулась с моря чересчур обгоревшей, а у нас был не настолько роман, чтобы мы делали это, причиняя друг другу неудобства. Еще через неделю мы привыкли к тому, как жили много-много лет - а жили мы их друг без друга - и наверняка, столько же еще проживем. Сейчас, спустя много лет, я вспоминаю о ней, лишь увидев в толпе полную, как у нее, фигуру. Она, наверное, вспоминает меня еще реже, если вообще жива: иногда она намекала на какие-то проблемы и говорила о химиотерапии. Что же. Если она умерла, то мир растворил в себе ее большое тело, и где-то она все равно есть. Но это неважно. Видимо, чем-то я ей помог, чему рад, как кит.

Я запомнил не ее, а ту осень, и запомнил ярко. Потому что та осень была трамплином Романа всей моей жизни. Романа, который начался буквально на самом пике той осени, в октябре. И не закончился до сих пор.

Брат-кит, о брат-кит. Многим сестрам я помог. Та же из них, от которой зависел я, единственная, кто могла спасти, оставила меня. И я остался на пляже один, Анна-Мария.

Погибать без тебя.

4

Я мог бы написать «умирать», но это слово неточно применительно ко мне. Умирают в достоинстве, исчерпав себя до конца. Я же погибаю, и конец моего существования был насильственным. Насилие – все, что противно природе вещей. Я свою жизнь не прожил, и потому гибель моя противна природе. И хоть как организм я еще представляю собой несколько систем - кровеносную, пищеварительную, что там еще, - работающих систем, но как сознание я погиб. Меня больше нет. Все, что можно увидеть в моих глазах, - хоть и движущаяся картинка, но всего лишь - воспоминания. Те самые цветные галлюцинации, которые многие перед смертью принимают за обещание загробной жизни.

Сейчас я – воспоминания самого себя.

Брошенная книга. Умиравшая на морском берегу автобиография. Листья ее намокли, а под обложку забился песок. Бумагу рвут чайки, и не то, чтобы специально: они просто садятся, чтобы посмотреть, нет ли тут чего съестного. Чайки становятся на меня крепко и уверенно, по-хозяйски. Ветер силится поднять меня, но я довольно тяжелое издание, а тут еще и чайка, размером с гуся. И ветер, поколебавшись вместе с листьями, бросает эту затею – отправляется за косу, гонять барашки на волнах. Чайки же остаются на мне. Смотрят на меня, склонив голову, жестоко, как только птицы умеют смотреть. Ни хлеба, ни рыбы, ни просто помоев среди меня нет.

И чайки, оцарапав бумагу, взлетают.

Ветер, ненадолго вернувшись на пляж, перелистывает меня к началу, а потом засыпает на мокром от морского дождя песке. От нечего делать, в ожидании физического конца, я заглядываю в себя и начинаю читать. Вернее, просматривать, потому что сил на то, чтобы зафиксировать слова, у меня все меньше.

7

Мы познакомились примерно за неделю до моего - намеченного сначала наощупь, затем твердо - увольнения из газеты. Там я занимался репортерской работой, которая совершенно измотала меня. Но очень долго, лет пять, я не уходил оттуда из-за, конечно, денег. Пустая и никчемная, работа в газете, тем не менее, давала мне возможность жить по, как его называют, мидл-класс уровню. Причем необходимость поддерживать себя на этом уровне была для меня совершенно неочевидна. Я работал на потребности, которые сам искусственно создавал в себе. Иначе говоря, то, что я допоздна засиживался в редакции, давало мне количество денег, достаточное для того, чтобы снимать алкоголем стресс, переживаемый мной из-за того, что я допоздна засиживался в редакции.

Разумеется, я писал книги.

Конечно, со временем мне пришла в голову мысль о бегстве. Ведь я, тогда уже двадцативосьмилетний старик и располосованный шрамами человек, прекрасно понимал, что мой Рубикон близок. Я или уволюсь, или превращусь в одного из тех, с кем мне приходилось делить кабинет или зал для заседаний. Суетливые сорокалетние люди, прячущие себя в ворох серой бумаги от неприятной действительности, которая состоит в их полном и окончательном моральном крахе. Душевном банкротстве. В человека, который больше чем на пятнадцать минут не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Кроме себя, конечно. И в один из тех дней, что называют «прекрасными» - а на самом деле в них нет ничего, кроме того, что вы придумаете об этих днях значительно позже, - я решил уволиться.

Само собой, это я понимаю только сейчас. Тогда очевидность и бесповоротность своего решения для меня ясна не была. Просто подумал о том, что неплохо бы через неделю-другую взять отпуск месяца на два. Иначе нервы сдадут. Решив это, я испытал настолько сильный толчок радости, что понял, что как раз работа-то радости мне не доставляет. И что если я не хочу сделать себя моральным инвалидом, мне придется уволиться совсем. А решив это, почувствовал себя так хорошо и свободно, что даже наобещал на утренней планерке своротить горы работы. Обещать это было тем слаще, что никто, кроме меня не понимал - никакой работы уже через неделю я не сделаю. От этого, а еще от мысли о том, что до конца рабочего дня осталось всего три часа, и я смогу сидеть в парке, пить пиво и ни о чем не думать, у меня потеплело в животе. Будто перед сексом.

Да, я еще и спивался.

- Ну, а раз на следующей неделе работы у тебя до хрена, - посочувствовал мне редактор, - то сегодня мы тебя разгрузим. Сделай только сводку из МВД и все.

Я и сделал. Сводку из МВД сделал и сделал все, что потом дало мне возможность сейчас, лежа на мокром осеннем песке у моря, перелистывать себя. Но сначала, конечно, я встал и пошел в свой кабинет, откуда и позвонил. Это единственное, что я делал с удовольствием – звонил в пресс-центр полиции.

Как водится, в редакциях пустота забивается суетой, поэтому день-деньской я только и делал, что куда-то бегал, откуда-то ехал, что-то настукивал на печатной машинке да названивал кому-то, пытаюсь перекрыть шум редакции дребезжащим от вчерашней попойки голосом. А поскольку старенький телефон этого не выдерживал, нам приходилось орать. Почему-то никого - кроме меня, конечно, - это не раздражало. Собеседники даже подлаживались под эту манеру и кричали в ответ, а мы в ответ начинали кричать еще громче, чем они, и громкость наших разговоров за пять лет моей работы в редакции возросла неимоверно, и... Мне всегда было интересно, чем это кончится. Но не настолько, чтобы рискнуть собой

и остаться. Подумав об этом, я поднял трубку, чтобы совершить свой последний звонок.

– Двенадцать килограммов дури! – радостно восклицал Сергей Корчинский из пресс-службы полиции. – Двенадцать кило! Это просто праздник какой-то. Праздник!

У него, как и у многих окружавших меня тогда людей, была железобетонная привычка изъясняться штампами и крылатыми выражениями из совковых фильмов, книг и бардовских песен. Если я ошибался, то точно знал, что услышу от них укоризненное «Семен Семеныч!», если у них было хорошее настроение, то они, как Сережа Корчинский тогда, несли ахинею про «просто праздник какой-то», ну и в том же духе. Поэтому я никогда не слушал людей в то время, - ведь говорили они одинаково. Слушал я интонацию. А она у собеседника была радостной. Наверняка, подумал я, Корчинский тоже решил уволиться.

Потом решил, что я слишком самонадеянный. Если во мне что-то хрустнуло, и я изменился, то это не значит, будто мир изменился. Чтобы с тобой не случилось, - думал я, слушая крики Корчинского и глядя на таблицу мужских разрядов по плаванию, повешенную коллегой-спортсменом на стенке, - мир остается прежним.

Разумеется, я ошибался.

Еще как. И, разумеется, мир, в отношении которого я так ошибался, очень скоро дал мне понять всю глубину моей глупой самонадеянности. Вынь любое полено из поленицы, и она зашатается.

Когда меняешься ты, меняется весь мир.

Но тогда я этого не понимал. Осознал значительно позже. Корчинский спустя год и два дня после нашего разговора уволился: сначала ушел в отдел полиции нравов, потом уехал в Африку инструктором-парашютистом. Учил повстанцев какого-то Бантустана прыгать с парашютом и стрелять из автомата в солдат законной армии Бантустана. Отработал полтора года, вернулся в Молдавию, и жить здесь больше не смог. Как нигде больше, впрочем. Поняв это, Корчинский нашел в себе силы обратиться к психиатрам. Но было уже поздно, и буквально на втором дне лечения бравый наемник, надев форму повстанческой армии Бантустана, выбросился с седьмого этажа психиатрической лечебницы. Последний, с кем он разговаривал перед тем, как выброситься, был я. Сергея я разыскал, чтобы поговорить с ним об Анне-Марии. Прилетел из Стамбула для этого. Но Корчинскому было не до того. Он все сидел на железной кровати, которая прогибалась под ним, - в Африке он окреп и накачался - и перебирал на своей груди награды, которые ему там вручили за неоценимый вклад в дело разгрома тирании. Его тянуло поговорить о себе, а у

меня не было сил возражать, вот он и говорил, говорил, говорил. И все трогал свои награды, которые нацепил зачем-то на рубашку. Это, сказал мне врач, было единственным неадекватным моментом в его поведении.

А вообще Корчинского как тяжелого пациента не рассматривали. Поэтому я и побеспокоил его. Мне казалось, что если ты нашел в себе силы трусливо спрятаться от мира, и прежде всего от себя, в санатории, то ты сможешь и на пару-тройку вопросов ответить. Тем более, что это тебе ничем не грозит. Я имею в виду – вопросы на ответы об Анне-Марии. Но Корчинский старательно избегал этой темы, и мне под вечер, когда в комнате потемнело, стало казаться, будто он никогда не знал Анны-Марии, вообще ее не видел.

– Ты говоришь так, будто вообще ее не видел, - сухо сказал я ему.

А он и в самом деле почти не видел ее. Поэтому претензии мои к нему были необоснованны. Но Корчинский сделал вид, что ничего не произошло. Это было нетрудно: я же говорю, в комнате было темно. Постепенно я перестал видеть его лицо. Только медальки поблескивали мне через тумбочку, которая нас разделяла. Медали и отличные зубы Корчинского, - их он вставил в Москве, через которую транзитом возвращался на родину из Африки.

– Дело не в том, - все повторял он, - что я здесь чувствую себя ненужным и лишним, а там был герой и спаситель нации. Если бы дело было в этом, я бы давно вернулся...

Но в Бантустан Корчинский не хотел. Он вообще никуда не хотел, а в Бантустан особенно: он жаловался на тамошних туземцев, климат, воду и паразитов. Молдавия? В Молдавии Корчинского не устраивал примерно тот же набор. Здешние туземцы, климат, вода и паразиты. Что же делать, что делать-то? Он сидел, перебирал железяки на груди, и все тихо повторял:

– Что же делать, что делать-то?

Мы оба прекрасно понимали, что именно скоро сделает Корчинский. Но у меня не было ни малейшей возможности помочь ему. Поэтому я пожал плечами и раздраженно сказал:

– Выпрыгни из окна.

После этого я последний раз попытался узнать у него хоть что-то об Анне-Марии, но Корчинский, - в отместку видимо, - вообще перестал со мной разговаривать, изображая из себя полного психа. Что было особенно омерзительно, учитывая его совершенно ясное мне душевное здоровье. Я допил чай из стеклянного стакана, отложил аккуратно ложечку, поблагодарил его за встречу и вышел из палаты.

- Послушай, - крикнул он мне вслед, - послушай. Зря ты все это затеял. Давно ее здесь нет. Если она вообще где-то есть. Она же мертва, понимаешь ты. Мертва! Все изменилось. Мир изменился.

Я стоял, глядя на лопнувшую краску стены, совершенно согласный с ним, но не поворачивался. Корчинский немножко подышал в дверях, а потом вернулся к своим демонам, бросив мне на прощание:

- Если меняется что-то в тебе, меняется весь мир.

6

Я потряс головой и переложил трубку к другому уху. Слышно было чуть хуже, зато плечо не горело.

- Двенадцать килограммов дури! – радостно восклицал Сергей Корчинский из пресс-службы полиции. – Двенадцать кило! Это просто праздник какой-то. Праздник!

Я отправляюсь в комиссариат полиции с диском и тремя спичечными коробками: чтобы снять - во всех смыслах - этот фантастический улов. Разумеется, ни о каком досмотре при входе в здание речи и быть не могло, мы только показывали удостоверения да проходили себе. Сережа всегда долго возился с диском, а мешки с добычей наркополиции в это время стояли совершенно открытыми и долго. Не знаю, кто именно еще пользовался добротой Сережи, но явно пользовался не я один. Иначе объяснить всеобщую любовь пишущего корпуса к пресс-центру полиции города я не могу. Конечно, толковой части этого корпуса – Корчинский дураком не был, и ненадежный человек доступ к вещдокам никогда бы не получил. В общем, мы всегда помогали Корчинскому, а он нам. К хорошей траве я пристрастился уже после того, как стал криминальным репортером, но когда пристрастился, сводки наркополиции всегда брал на себя. Конечно, курить в самом комиссариате не стоило...

- Отличная афганка, - бормотал Сережа, скачивая фотографии дилеров, - из золотого, Богом благословенного треугольника на стыке Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Рай обетованный. Земля небесная.

Я хотел сказать ему, что он все перепутал, но решил, что не стоит: дверь хоть и была закрыта, но я всегда нервничал, когда пересыпал из мешка в коробки. Руки тряслись из-за печатной машинки, и процесс всегда затягивался. Корчинский, хоть мы и проделывали это сотни раз, тоже чуть боялся, я это видел. Хотя дело было абсолютно безопасным: до того, как мешки опечатывались, их содержимое можно было безнаказанно брать, а единственная камера наблюдения в комиссариате полиции Кишинева стояла перед входной дверью.

– Хочешь, - попытался разрядить обстановку я, - статью и благодарственное письмо министру о том, как бесценна ваша пресс-служба?

Он, конечно, хотел. А я, как всегда в предвкушении выпивки или хорошей затяжки, становился словоохотлив и давал много обещаний. Мы оба закончили, и я положил деньги в ящик. Никакой статьи не будет, мы это знали. Корчинскому нужны были деньги. Я платил хорошо, многие платили хорошо, и он работал хорошо. С зарплатой пресс-атташе провинциальной дыры – столицы бананово-кукурузной республики его доходов от моих и чужих посещений хватало на достойную жизнь. Это радовало меня. Корчинский был абсолютно нормальным и честным парнем.

Я доверил бы ему собственную дочь, будь она у меня.

Разумеется, в Сергее не было ничего от карикатурного коррумпированного полицейского. Да он и не был таким. Это был совершенно честный легавый, который сбавлял нам траву просто потому, что не хотел из-за своей бедности поддаться соблазну получить взятку от настоящих бандитов. Таким ерундовым в своих - да и в наших - глазах способом он покупал свою независимость и беспристрастность полицейского.

Я считал это справедливым.

Свою организацию, полицию Кишинева, он не боялся. Вероятность того, что его поймут, была равна нулю. В нашей дыре о любой облаве журналисты и пресс-службы знали еще до того, как план этой облавы заканчивали обсуждать на секретных совещаниях. Да и какой смысл уничтожать наркотики, если их можно в разумных количествах продать людям, которые никогда не будут представлять собой угрозу обществу? Дай жить другим и сам живи достойно. Это ли не прекрасно?

Мы улыбнулись друг другу, и Корчинский проводил меня до дверей.

Я лежу на мокром песке замызганного стамбульского пляжа, и гляжу, как серые волны Босфора тоскливо лижут пятки то Европе, то Азии. Несчастный пролив. Вечная неопределенность. Кто назвал это место благословенным? Я прикрываю голову газетой, и чувствую, как по моей коже моросит осенний дождь. А ведь в воздухе до него и так было влажно. В Турции слишком много воды везде, даже в воздухе.

Я выбросился на мокрый осенний пляж Стамбула, и мне не найти дороги обратно. В Океан мне путь заказан, Анна-Мария. Уже никогда и ни с кем я не буду свободен. Так, как был свободен с тобой и с ним, с Океаном. Волны Босфора крадут песок с моего пляжа, где я лежу один. Босфор. Что же. Неплохое место для разочаровавшегося в себе писателя. Кажется, здесь изумлял турок своими упражнениями в плавании Байрон. Сюда несся экспресс Грина и Кристи. Отсюда сбежал Памук. Тот еще помнит времена, когда здесь можно было купаться. Сейчас пляжи Босфора закрыты. А я все равно пришел сюда.

Здесь, на песке, истоптанном ногами генералов от литературы, лежу я, их пехотинец. Несостоявшийся писатель. Несостоявшийся любовник женщины, которую родители называли Анна-Мария. Несостоявшийся философ. На звонки из театра я не отвечаю и книг больше не пишу. Да и не читаю тоже.

Разумеется, в этом нет ничего страшного.

Я не собираюсь выбрасываться из окна, как это сделал Корчинский, или обрывать свое существование каким-либо иным способом, что сделали многие другие участники нашей неприятной истории. Благодаря тебе, Анна-Мария, я научился смирению выбросившегося на берег кита.

Нет смысла дергаться. Я буду спокойно лежать и ждать. Или прилив унесет меня обратно в воду, или я умру. Я жду.

Я принимаю себя таким, какой я есть – серостью.

По пути из комиссариата в редакцию я и увидел Анну-Марию. Сейчас я часто прокручиваю эту сцену, пытаюсь понять, что именно заставило меня остановиться возле нее. Бабником я никогда не был. Скорее наоборот, особенно тогда – наш бракоразводный процесс был в самом разгаре. Лена, моя жена, уже успела поразить

меня некоторыми моментами, которыми может поразить мужчину только женщина, жившая с ним в браке и потребовавшая развода. Я старался не думать о них, и думал только о том, как дотянуть до конца рабочего дня, чтобы покурить или выпить, а еще лучше и то и другое. При этом я был одержим честолюбием, и, напившись и накурившись, то и дело принимался что-то писать. Слава богу, от этого, - но не алкоголя и травы, - отучила меня она. Женщина, навстречу которой я уже шел.

Анна-Мария стояла у рекламного щита местного театра.

Невысокая, задастая, ростом мне до глаз, скорее крепкая, чем худощавая, с маленькой грудью идеальной для меня - как впоследствии выяснилось - формы. Тогда этого увидеть я не мог, потому что на ней был большой свитер. Грубой вязки свитер, с большим воротником, и в котором утопал правильной формы подбородок. Чуть великоватый, с горбинкой, нос. Огромные ресницы. Зеленые глаза, короткая стрижка, синяя мини-юбка в обтяг на полных ляжках и разноцветные, в полоску, гетры до колена.

Девочка из шведской сказки, но не Пеппи Чулок.

Эта яркая фигура до сих пор стоит перед тем щитом каждый раз, когда я прохожу мимо. Тогда она стояла там на самом деле. Я подошел к ней и спросил, не хочет ли она пойти на спектакль, который поставлен по моей пьесе. Она посмотрела весело, с недоумением, но согласилась. С одним условием, сказала она. Каким, спросил я.

- Если будет скучно, пойдем ко мне, - ответила Анна-Мария.

Я никогда не выигрывал в лотерею, поэтому ничего не почувствовал. По дороге в театр я выяснил, что ее зовут Анна-Мария, и это не шутка, а родители-молдаване так ее называли. Что учится она на филолога, а живет на родительские деньги, которых немало. И что я совсем не в ее вкусе, хоть слегка и похож на араба. Последняя сентенция повергла меня в молчаливые раздумья до самого театра, куда нас пустили без билетов, потому что я - автор.

Пьеса ей не понравилась, о чем она сказала еще в середине первого акта, и мы ушли. Прогулялись по Кишиневу, который тогда только начал сдавать осенней непогоде. Красные листья, которыми был украшен центральный проспект, всюду валили под морозящим дождем на асфальт. Анна-Мария раскрыла огромный - чуть ли не с нее ростом - серебристый зонт и привстала на цыпочки, чтобы укрыть и меня. Но так она задевала мне лицо рукой. Пришлось взять зонт мне. Мы погуляли немного мимо молчаливого, изредка дребезжащего старенькими троллейбусами проспекта Штефана, перешли парк Пушкина и очутились возле министерского дома.

Там она и жила.

9

Пока она делала чай, я пошел в ванную, чтобы спокойно там помочиться. Ненавижу делать это в унитаз. При разводе Елена собиралась указать это как одну из причин, по которой брак будет расторгнут. Отговорил ее юрист, с которым она, кажется, уже начала спать. До того, как мы начали разводиться или после? Решив не ломать над этим голову, я расстегнулся, включил горячую воду и стал мочиться. Вспомнил, что забыл закрыть дверь, полуобернулся к защелке и замер.

На меня смотрела Анна-Мария.

Жалко, очень жалко. Я наощупь закрыл воду и застегнулся.

– Пьеса у тебя скучная, - сказала Анна-Мария, - но я тебе отсосу. Да ты заканчивай.

Дверь закрылась, и я, сглотнув, закончил. Вымыл руки и вернулся в комнату. Там, возле телевизора, стояла, в один гетрах, Анна-Мария. Мне показалось, что она как-то застенчиво съежилась, и я удивился. С ее развязностью в ванной это никак не сочеталось. Потом понял, что ей просто холодно. И сел в кресло. Она молчала.

– Встань на колени, - сказал я.

Она встала.

– Ползи ко мне, - сказал я, расстегиваясь, - на коленях...

Она поползла.

На следующий день я не пошел на работу.

10

Я переворачиваюсь на бок и пытаюсь заснуть. Но в голову мою, словно волной в берег пролива, бьет только одна фраза. Анна-Мария, Анна-Мария. Намокла ли ты, вспоминая меня на франкфуртском автовокзале перед своим последним выездом? Сколько капель твоей благословенной жидкости впитали трусики-шорты с отпечатком губ на лобке? Кому дала там? Закрывала ли глаза, выпив принесенную кондуктором минералку, чтобы сжать ноги и немного - совсем чуть-чуть! – подумать о том, как их раздвигал я? Была ли ты вообще на этом вокзале, и как часто вспоминала меня, когда улетела туда?

И улетала ли?

11

– Сначала в койку, потом поговорим!

Запыхавшаяся, холодная с улицы Анна-Мария говорит это в коридоре и бежит в комнату, на ходу стряхивая с ноги туфлю. Я подбираю ее, любовно целую носок и кладу на полку для обуви. Когда я приду в комнату, я знаю, она уже будет там, в постели. Голой извиваться под одеялом, мастурбировать, поскуливать и материть меня. Но пока она не кончит хотя бы раз, я под одеяло не залезу. Как бы она не ругалась. Иначе я рискую – совершенно неудовлетворенная Анна-Мария просто зверь, маленький зверь, не отдающий себе отчет в том, что пытается выцарапать из твоей шеи вену.

– Заткнись, - резко говорю я, - и кончай!

Мне хочется поговорить с ней. И сунуть в ее. После недолгих размышлений я решаю комбинировать - суну и поговорю.

Под одеялом настоящее торнадо. Выматерив меня напоследок, Анна-Мария орет во все горло и, перегнувшись, как эпилептичка, замирает. Сделав мостик, покачивается. А минут через пять ее мышцы ослабевают, и она расползается по постели горячим желе. Я раздеваюсь и сбрасываю с нее одеяло. Она изумительна. Просто подарок какой-то. Женщина с великолепным молодым телом, сексуальная и совершенно раскрепощенная – моя. Что она здесь делает? Сейчас я могу сравнить ее с собой: Анна-Мария в моей постели была так же удивительна и нелепа, как я сейчас – на этом стамбульском пляже.

Каким образом я - тридцатилетний неудачник, не добившийся ничего, кроме прогрессирующего алкоголизма и хронической депрессии, в постели совсем не выдающийся, и не красавец, с характером скверным - стал обладателем этого чуда? Поначалу я спрашивал, Анна-Мария отмалчивалась. Тогда я испугался, что надоем

ей этими вопросами и перестал донимать ее. Ты получил все, не дав ничего, - сказал я себе, - сорвал банк, хапнул куш, так пользуйся им и наслаждайся.

Постепенно ощущение, что я бездомный, а Анна-Мария роскошная дача, оставленная хозяевами на зиму, которую бродяга на роскошных диванах чужого дворца коротает, покинуло меня.

В конце концов, нужно же было научиться хоть немножко любить себя!

Я досыта наедаюсь видом Анны-Марии, которая начала приходить в себя, и как всегда после оргазма, захотела пить. Даю ей ее любимый красный чай с сахаром. Она, откинувшись на локте, прижавшем к подушке ее волосы, цедит красное пойло, глядя на меня. Грудь, - благословенный второй размер, - не обвисает, и я могу спокойно гладить ее. Анна-Мария бросает чашку и, обняв меня, со слюной и языком проталкивает в меня свой согретый во рту чай.

- Я умывалась в туалете, ну, аэропорту, - пусто щебечет она, - и все вспоминала тебя. Вокруг было полно каких-то азиаток, негритянок. Пока я лицо кремом мазала, они все так и шныряли повсюду.

Я шлепаю ее по заднице и усаживаю на себя. Она охает, а потом лижет мне руки. Анна-Мария поехала в Мадрид на второй день нашего знакомства. Ее там ждали, так она мне объяснила после того, как подползла на коленях через всю комнату, растянулась и отсосала. Все это естественно и без жеманства. С этим я, привыкший к тому, что женщина постоянно себя на что-то меняет, не сталкивался. Поэтому уже утром, - вдохновленный четырьмя ночными соитиями, - собрался тащить ее чемоданы в аэропорт. Она, смеясь, покрутила пальцем у виска и оставила меня дома.

- А что я буду здесь делать? – немного растерялся я.

- Ты?! – удивилась было моему присутствию здесь она, потом задрала нос и чмокнула меня в ухо. – Дождаться!

Вот с тех пор я все жду, жду и жду.

Я точно знаю, что каждого из нас можно опознать. Зубы, волосы, слюна, отпечатки – это ерунда. Забавно, что люди, серые и мелкие, как песок на стамбульском пляже,

обладают каждый уникальной особенностью. Как и песчинки. Каждый в своем роде. Эта особенность дана тебе Богом вовсе не потому, что он любит тебя. Напротив. Она дана тебе потому, что он тебя недолюбливает, и поэтому хочет, чтобы при случае тебя легко можно было вытащить за волосы из толпы тебе подобных. Наказать. Меня он наградил тобой, Анна-Мария.

Каждая снежинка уникальна в своем строении, но, поистине, я первая, кого, ради ее уникальности, наградили другой.

– В аэропорту, - крутилась на мне ты, - вообще было прикольно.

Я морщусь от этого жаргона, неуместного для тебя, двадцатипятилетней женщины. Ты принимаешь это за гримасу неудобства и приподнимаешься. Я хватаю тебя за зад и с силой насаживаю обратно.

– Куча, - выдыхаешь ты, - народу...

Другая отличительная черта, данная мне, состоит в том, что я совершенно неспособен оценивать события в процессе. Говоря проще, я тугодум. Только сейчас, перелистывая себя колючим из-за поднятого песка ветром, я понимаю кое-что. Ничего из сказанного с тобой о мадридской поездке нельзя было не придумать, не съездив туда. Обилие людей в туалетах международных аэропортов и вокзалов? Суматоха на лицах? Ожидание в гостиницах? Обо всем этом я успел рассказать тебе в первую же ночь нашего знакомства, когда, потрясенный и благодарный, говорил, говорил и говорил.

О многом я тебе рассказал тогда, Анна-Мария, да? Уже не помню, что из сказанного я придумал, но остановиться я был не в силах. Почему? Дело, конечно, не только в сексе. После десяти лет прозябания среди бесплотных вампиров я встретил настоящего человека. Тебя. Анну-Марию из крови, плоти, с дерьмом в кишечнике, бактериями во рту и менструальной кровью в вагине. Это потрясло меня. Ты отворила меня. Расторгла венец молчания. Откопала, как Шлиман Трою. И всего-то, что для этого нужно было – переспать, не требуя ничего взамен. Дать себя всю и во всем, грязно выругаться да попросить отшлепать тебя по заднице, напялив на шею собачий ошейник, ошпарить меня кипятком своего языка и пронзить себя мной.

О чем же я тебе рассказывал в ту ночь? Я стискиваю зубы и вжимаюсь в песок. Ненависть ушла, но, о, если бы я встретил тебя, Анна-Мария в одну из своих бессонных ночей, то убил бы, видит Бог. Ты проклятая шлюха. Я люблю тебя.

Я рассказывал тебе о том, как брился в туалете Будапештского вокзала, и подшивал воротник в аэропорте Вены. О коротком путешествии в Норвегию и трех неделях в Польше. И любую из этих историй ты могла немного переиначить и выдать мне после того, как вернулась. Что ты и делала. Польская история, и венский инцидент, венгерские впечатления и норвежские обрывки. Ты позаимствовала все, потому что самой придумывать тебе было лень.

Только о Стамбуле я тебе не говорил ничего, потому что тогда только начал плыть к этому городу, не зная о грядущем столкновении.

Как «Титаник» навстречу айсбергу.

12

Удивительно, но Анна-Мария, которая отличалась забывчивостью, оставив дома меня, была так любезна, что оставила еще и ключи от этого дома. Так что я мог запросто выходить из ее квартиры в любое время, чтобы прогуляться и подумать о том, где же я на данный момент нахожусь. Странно, но в отличие от спонтанного секса этот ее поступок на меня впечатления не произвел: сказывалась многолетняя работа в редакции, которая обесценивает практически любой подарок.

Газетчики не верят никому, потому что не верят, прежде всего, себе.

За бескорыстием Анны-Марии, оставившей ключи своему свежее испеченному любовнику, я увидел лишь ее спокойствие, подкрепленное знанием того, кто я. В провинциальном Кишиневе я и правда, был известен в степени достаточной для того, чтобы оставить мне ключи, не опасаясь ограбления. Я решил, что она просто знает, чего от меня ожидать, поэтому не побоялась оставить дома.

В гораздо большей степени я был потрясен тем, что эта прекрасная, во всех отношениях, женщина дает себя такой серости как я.

Вариант того, что она спит со мной из-за дешевой провинциальной известности, я отгнул сразу. Анна-Мария не производила впечатления человека, которому близок театр или литература. Позже выяснилось, что я прав: она обожала кинотеатры, и то и дело тащила меня на сеансы идиотских молодежных комедий. Больше всего она любила во время утренних сеансов сидеть на первом ряду и увлеченно отсасывать мне, не отрывая при этом взгляда от экрана. Глядя на отражение суматошных лиц из цветастых никчемных фильмов в блестящих зрачках Анны-Марии, я кончал. Она с естественной и бездумной грацией животного сплевывала, промокала губы платком, и приваливалась мокрой щекой к моему плечу.

- Ты блядь, Анна-Мария, - говорил я ей, - ты блядь.

Конечно, вовсе не потому, что так думал. Просто это заводило меня. Что же, страсть к ругательствам лишнее подтверждение моей серости. Что может быть банальнее желания никчемного обывателя грязно обматерить прекрасную женщину, которая снизошла до постели с ним. О, для меня же это было верхом сексуальной распущенности! Я гладил ее по волосам и называл блядью, а она, все так же не отрываясь от экрана, лезла в карман за жевательной резинкой. Она говорила:

- После минета меня сушит.

Была ли она нимфоманкой? Не знаю. Мне кажется, что нет. Но я не уверен. Утверждать что-либо сейчас, после всего случившегося, было бы с моей стороны глупо. А я и так довольно долго был глупым и самонадеянным. Совсем как чайка. Жирная глупая птица с белоснежным оперением, еще не успевшим испачкаться в отбросах Каджамустафапаши, здешнего района бедноты. Для отбросов из Куштепе она слишком хорошо выглядит. Удивительно. Чем беднее район, тем жирнее чайки, которые оттуда прилетают к морю. Наверное, отбросы у бедноты самые питательные для чаек. Здесь, как, впрочем, и везде, чайки перестали быть птицами моря. Переселились в города. Наверное, они прилетают к морскому побережью, чтобы почувствовать себя прежними. В таком случае я тоже чайка. Глупая и самонадеянная.

Чайка, прилетевшая ко мне сейчас, глядит подозрительно и с издевкой, как таможенник в аэропорту на молдаванку. Мы оба *знаем*. Что именно, это уже неважно. Чайка переминается с ноги на ногу, - совсем как Анна-Мария тогда, в наш первый вечер знакомства, - и я с удивлением понимаю, что птица замерзла. Чайка! Птица, рожденная у моря, рожденная быть в море, замерзла на пляже, потому что привыкла жить в тепле мусорных баков и перестала быть естественным обитателем приморской полосы. Я хохочу ей прямо в клюв, чайка же, как настоящий стамбульский оборванец, нисколько не обидевшись - пускай смеются, лишь бы накормили - переваливается с ноги на ногу, похлопывая крыльями.

- Эй, оборванец, я буду звать тебя Анна-Мария, ладно - говорю я, - поди сюда, оборванец. Подойди.

Чайка словно дрессированная. Подходит совсем близко. Заглядывает в мои руки. Но там ничего нет. Вблизи я вижу, что у нее глаза блестящие, как у тебя, Анна-Мария, как у тебя в кинотеатре, и понимаю, что позвал ее, как Анну-Марию когда-то, и что-то сжало мне горло. Я даю себе слово в следующий свой приход на этот

пляж прихватить что-нибудь съестное. Я просто обязан накормить эту чайку в память о тебе.

Устроить ей поминальный обед в твою честь.

13

Да, я любил называть Анну-Марию блядью, но блядью она не была, как мне кажется. Даже со скидкой на мою неуверенность в чем-либо. Я точно знаю, что все то время, пока мы были вместе, у нее не было других любовников. Удивительно, учитывая некоторые обстоятельства, самое безобидное из которых – мой далеко не бурный темперамент и ее страстное желание насадиться на все, на что только представлялось возможным насадиться.

Анна-Мария обожала секс.

Но спала - пока была со мной - только со мной. Давала мне непрерывно. Наш секс начинался утром и заканчивался следующим утром. Наши прогулки были поиском укромных мест, где можно было сцепиться. Разговоры – перешептыванием в постели. Выходы в свет – поиском укромных мест в свете, где можно сцепиться. Благодаря ей я познакомился с Кишиневом. Удивительно, но она - мало читающая и ничем, кроме ебли, не интересовавшаяся - хорошо знала историю этого захолустного городишки. А еще корни. Ее папаша, сказала она мне, происходит из старинного бессарабского рода. Что ж, еще один золотой в копилку незаслуженного мной куша. Благодаря Анне-Марии я узнал старый Кишинев так хорошо, что мог устраивать для иностранцев экскурсии.

Оказалось, что утренние прогулки с женщиной, которая хочет тебя, вполне способны заменить суету того, что лицемерно называют «нормальной жизнью».

14

Анна-Мария. Я намок, думая о тебе.

Кожа настолько мокрая, что в углублении под моим телом в песке собралась небольшая лужа. Или это дождь? Не мешало бы встать и начать собираться, но мне, в отличие от чайки, не холодно. А где же она? О, все еще тут. Ищет что-то под крылом, но, это видно, скоро улетит. Восемь часов вечера по Стамбулу. Время ужина, и, значит, мусорные баки уже полны. Прощай, чайка. До завтра.

Я снова возвращаюсь в утро. В то утро, когда я донес чемоданы Анны-Марии только до такси и поглядев ему вслед, поспал еще несколько часов. Так что, строго говоря, это был уже день. Я проснулся в ее постели, полюбовался высохшими пятнами на ковре - она никогда не говорила мне о предохранении, видно, это была ее забота - и оделся и побрел в ванную. По пути, в огромной прихожей, нашел проигрыватель. Проигрыватель! Это было удивительно и необычно. Рядом лежали пластинки. Было много «Биттлз», которых я люблю больше всего, но у меня было не то настроение. Я выбрал Стинга, «Пустынную Розу», - и еще там на пластинке была какая-то песня, которую он пел с то ли марроканским, то ли турецким кастратом - и музыка заиграла. Я лежал в горячей воде, подбавляя себе кипятка, и думал о том, что к вечеру позвоню в редакцию и скажу, что увольняюсь. Денег у меня было достаточно для того, чтобы год скромно жить одному. Конечно, я понимал, что меня никто не поймет, но с учетом новых обстоятельств - я говорю об Анне-Марии - это меня волновало меньше всего.

Так что пока все складывалось удачно.

И вопрос приобретения травы ближайшие две-три недели не стоял, спасибо Сереже Корчинскому. Правда, стоило подумать, где приобретать травку, когда кончится нынешний запас, но разве об этом стоило думать именно сейчас? В Кишиневе дилера найти нетрудно. Если что, решил я, свяжусь с Сергеем. Право заходить в комиссариат я потеряю, ну что ж, пусть наловчится и выносит мне время от времени немножко травы. Я вышел из воды, прошел, оставляя за собой лужи - что до истерик бесило мою бывшую жену - в коридор и нашел свои джинсы. Спичечные коробки были на месте. Надо бы сложить весь запас в один кисет, лениво подумал я, но чуть позже. А потом зазвонил мой мобильный. Я прижал трубку к уху и, вытерев руки о кресло, стал сворачивать сигарету.

- Это я, из аэропорта, - сказала Анна-Мария, которую я не сразу узнал по голосу.  
- Хочу спросить кое-что...
- Ну? - я прикурил и откинулся на кресло.
- Ты куришь в прихожей? - хихикнула почему-то она. - Да нет, кури себе сколько хочешь.
- Я курю хорошую, первоклассную траву, - сказал я, чувствуя себя неотразимым и сильным, да я таким и был, - хочешь, угощу, когда вернешься?
- Если только, - она явно была в настроении, - это улучшает секс. Хотя с тобой и так хорошо. Слушай...

- Ну?
- Эээ, - она словно сейчас придумывала, - у меня... там узко?
- Что?!
- У меня дыра, - четко зашептала, хотя раньше громко говорила, она, - узкая?
- Да, - подумав, честно ответил я, - очень. Могла бы быть и уже. Но это дело растяжимое.

Теперь уже я хохотнул. Она подышала в трубку.

- Но узкая? Достаточно узкая?
- Да. Но даже если и станет шире, ты же все равно умеешь ее сжимать, да?
- Хи-хи, умею.
- А раз умеешь, так пусть она хоть в десять раз шире станет, – выдохнул я с дымом.
- Ну, - неуверенно сказала она, - все равно ведь хорошо не напрягаться и быть эталоном, правда?
- Не знаю, Анна-Мария - улыбнулся я, - у меня ведь нет вагины.
- Есть, - хихикнула она, - это я. Целую. Не скучай.

Связь оборвалась. Я улыбнулся и сидел так достаточно долго. Пока не вспомнил, что меня ждет кипяток в ванной. Трава оказывает на меня, в отличие от многих других, чудесное воздействие. После нее у меня нет ни идиотского смеха, ни дебильной вялости, ни унижительного аппетита. Есть только мягкость в движениях и в то же время удивительная собранность. Марихуана делает меня тигром. Я погасил окурок, заурчал и пошел в ванную, из которой, как из меня дым, вырывался пар.

- Роза в пустыне, она все еще цветет, - пропел мне вслед Стинг.

15

- На этом месте в девятнадцатом веке была синагога. Всякие евреи здесь молились, молились. А потом поразъехались.
- Откуда ты, - я потянулся в карман за сигаретами, - все это знаешь, Маша? И что значит «всякие»?

Анна-Мария промолчала. Наверное, обиделась на «Машу». А может, просто перестала обращать на меня внимание, как часто делала, когда мой член был не в ней. Мы стояли у самого начала Кафедрального сквера - мягкого зеленого подбрюшья центра нынешнего центра Кишинева. Анна-Мария была в красной болоневой курточке - совсем затертой - в джинсах в обтяжку и коричневых ботинках. Очень осенняя была Анна-Мария. Было тепло, но ветер поднимался уже ноябрьский, и глаза у нее от ветра слезились. Она держала руки в карманах, глядела прямо в ветер, и думала о чем-то. Я не волновался. Привык: она впадала в такое состояние очень часто. Сегодня, когда Анна-Мария организовала для меня экскурсию по центру Кишинева, она выпадала из пространства раз шесть. О чем она, интересно, думает? Не о сексе же. Если бы Анна-Мария подумала о сексе, он бы у нас моментально и непременно случился. Это я знал точно.

Мы постояли еще немного у сквера и пошли пить кофе в бар прямо напротив бывшей синагоги, которую евреи выкупили у мэрии Кишинева, чтобы - вот упрямы - снова здесь открыть синагогу. Когда Анна-Мария рассказывала мне об этом, ноздри у нее насмешливо подрагивали. Как бока испуганного зверя.

- Ты, как и все молдаване, Анна-Мария, - размял я сигарету в кармане, - антисемитка. Евреи и русские, вот кого вы ненавидите. Это у вас комплекс неполноценности.
- Не становись в позу, - она грела руки о белую чашку, в которой плескался растворимый, натурального она не любила, кофе - я не националистка, но все проблемы от вас, а не от нас. Почему бы вам не научиться вести себя в гостях? И снять, наконец, с лица маску сучающего в Индокитае американца.
- Откуда ты все это знаешь, - достал сигарету я и прикурил, - если ни хера не читаешь, Анна-Мария?
- Или оставайтесь с нами и будьте нами, - выпалила она, не обращая внимания на личный выпад, - или уезжайте туда, где вам нравится. Люди без корней...

Я закурил и улыбнулся. Политические взгляды Анны-Марии представляли собой ограниченный набор лозунгов местных националистов. Узколобых и примитивных крестьян Бессарабии, попавших в ее еврейские городишки исключительно благодаря русским, которых они сейчас и ненавидели. Но самое неприятное заключалось в том, что отчасти Анна-Мария была права. Я правда не чувствовал себя в Молдавии дома. Но почему-то не уезжал из нее.

- Может, - развил я свою мысль, когда мы заказали еще кофе, и она вернулась в реальность, перестав пялиться на барную стойку, - мое предназначение заключалось в том, чтобы дождаться здесь тебя. А потом уже проваливать отсюда к чертям.
- Проваливать? – она будто начала разговаривать со мной только что.
- А почему нет? – воодушевился я и прикурил новую сигарету. Махнул рукой, и пепел ссыпался на плитку: мы сидели под открытым небом: - Детей у нас нет, деньги кое-какие есть, почему бы не попытать счастья в действительно большом городе? Поехали в Москву! Ну, или, учитывая твою нелюбовь к русским, с одним из которых ты, кстати, отчаянно пялишься, в Киев. В Бухарест, в конце концов. А? Уедешь со мной? Анна-Мария. Ты меня опять не слушаешь. Поехали, говорю, отсюда. Вот прямо сейчас встанем, соберем вещи и уедем. Мне кажется, никого лучше тебя я уже не найду.

Шел пятый день нашего знакомства.

16

Мы выпили еще кофе, и она попросила еще, а я воды и счет. Ее любовь к растворимому «Нескафе» приводила меня в ужас. В день она могла выпить полбанки этого суррогата. Что удивительно, руки у нее не тряслись, и возбужденной от кофе она не выглядела. У нее пониженное давление, меланхолично объяснила мне Анна-Мария, а из-за этого человек чувствует постоянную слабость. Ей нужно искусственно поддерживать тонус. Иначе она ляжет и уснет прямо на улице. А сейчас не мог бы я кончить в ее чашку.

- Что?!

Я, было, дернулся, но под ее спокойным взглядом сел обратно. В самом деле, чего это я. Что было особенно ценно в Анне-Марии, она никогда не тратила время на idiotские замечания, которые люди имеют в количестве трех-пяти десятков - эти фразы всегда наготове, и мы всегда готовы выпалить их по любому поводу. Такие фразы она презирала. Я учился этому у нее. В самом деле, мне было бы лучше или выполнить ее просьбу, или нет. К чему здесь восклицания или показное удивление.

- Кончить в чашку, - наклонила она голову, и я увидел, что глаза у нее не просто зеленые, а серо-зеленые, цвета, который получается, когда льешь молоко в зеленый чай, - в мою, конечно. Как в этом рассказе...

Я поморщился. Мне казалось, что распечатку порнографического рассказа, которую я носил пару дней в рюкзаке, и время от времени почитывал, - тогда я еще не встретил Анну-Марию, а потом сунул в щель под креслом, - она не найдет.

- Я же делаю уборку, - улыбнулась она, - а ты как думал. Нашла, прочитала, и мне захотелось. Бери чашку, иди в туалет, дрочи и кончи в кофе.
- Что ж, - вздохнул я, - хоть что-то ты начала читать.

Я взял ее чашку, прошел в туалет, закрылся и сделал все, как она хотела. Существенное отличие от рассказа заключалась в том, что никто на меня удивленно на пути в туалет, - туда и с кофе? – не глядел. Да и все в кофе не попало, часть размазалась по рукам, а бумаги в туалете этого бара не было. Я помахал руками, чтобы высохли скорее, снял с раковины чашку с кофе и спермой и вернулся к Анне-Марии. Стоя на пороге бара, поглядел на столы – ее нигде не было. Потом увидел. Просто ее красная куртка сливалась с опавшей красной и желтой листвой, которая сливалась еще и с деревянными желтыми столами. Я поставил чашку на стол и сказал ей об этом.

- На некоторое время в моем восприятии вы снова стали единым целым. Глиной, не разделенной на людей, предметы и природу.

Снова подул ветер, и огромные тополя над нами закачались. На маленький закрытой для транспорте улочке - столы здесь расставляли прямо на проезжей части - не было никого. Тополя стали раскачиваться очень сильно, и листья стали летать в воздухе, будто пух в июле. Из-за этого, а еще потому, что улочка была стиснута высокими, сталинских времен, домами, мы с Анной-Марией очутились словно в аквариуме. Красная рыбка - она. Серая, цвета моего пальто, рыбка - я. Две рыбки, высокий, вертикальный аквариум, забитый до отказа плавающими золотыми - дешевого турецкого и дорого червонного золота - водорослями в виде листьев. А когда от ветра наверху что-то лопнуло, и с тополей, будто корм для рыбок, посыпалась труха, сходство с аквариумом стало полным.

Рыбка Анна-Мария потрогала пальцем поверхность кофе, подержала чашку на уровне глаз, а потом медленно, будто цедя, выпила. Картинно облизнула губы. Я просил:

- Еще хочешь?

Она сказала:

- Ага.

Я сказал:

- Ну ты и шлюха.

Она сказала:

- Меньше слов, милый, действуй.

Я сказал:

- Я же только что кончил, Анна-Мария, и сил на второй раз у меня пока нет.

- Сдаешь назад, герой? – сказала она.

- Но, если хочешь, - разозлился я, - вот. У меня на руках еще немного осталось.

На улицу вышла официантка и опасливо подошла к нам. Ей показалось, что мы ссоримся. Мы замолчали, - Анна-Мария все облизывала губы, и я подумал, что они у нее потрескаются. Потрескаются непременно. Нельзя облизывать губы на ветру. Официантка торопливо убрала еще пару пустых стаканов с соседнего столика и забежала обратно в бар. Удивительно, но она была одета совсем по-летнему: в короткую юбку, блузку, красный передничек и шейный платок. А на ногах без чулок у нее были тапочки. Это потому что внутри тепло, понял я. Дверь за официанткой закрылась, и я снова вытянул обе руки к Анне-Марии.

- Вот, если хочешь еще.

Она посмотрела на меня, - снова будто мы только что заговорили, - и, продолжая сидеть, наклонилась через стол. Очень сильно, видно было, как край стола уперся ей в грудь. Наверное, ей трудно дышать, подумал я. Минут пять Анна-Мария вылизывала мои руки, как собака. Никакого возбуждения я не почувствовал. Никакого возбуждения и она не чувствовала. Ведь никакой покорности тут и в помине не было, разозлился я, на хер ей сдались мои руки, она облизала их только потому, что на них была сперма. Была бы она на канализационном люке, Анна-Мария облизала бы и канализационный люк.

Значит, я и был канализационным люком.

Анна-Мария тщательно вылизала кожу между пальцами левой руки и перешла к правой. Заканчивая, облила запястья, хотя, конечно, зря, потому что туда ничего не попало, и прошлась языком по ногтям. Перед тем, как оторваться, слегка куснула костяшки кулака. И снова сидела прямо, мелькая передо мной в падающих откуда-то сверху листьях клена. Что-то изменилось, подумал я. Оказывается, ветер стих, и листья не кружились, а просто падали. Тополя замерли. Кишинев затих. Это обеденный перерыв кончился, поэтому центр города, слышимый нами отсюда, затих. Разбежались по муравейникам. Один лист упал ей на макушку, и Анна-Мария, не снявшая его, стала похожа на заночевавшую в куче осенней листвы Дюймовочку.

- Послушай, - растрогался я, - тебе нет необходимости совершать такие поступки из принципа противоречия. Если тебе неприятно что-то в моих словах, дай мне понять это на словах. Не стоило лизать мне руки, если я сказ...
- Еще хочу, - сказала она.
- Ну ты и шлюха, Анна-Мария, - сказал я, - ну ты и...
- Действуй, - сказала она.

17

Мои вещи пропитаны водой.

Но мне это в высшей степени безразлично. В ворота я выхожу на пляж, расстегивая рубашку на ходу. Пиджак я уже снял и перекинул через плечо. К сожалению, я вынужден одеваться крайне официально, чтобы производить хорошее впечатление на моих работодателей в стамбульском офисе. К январю я поеду в Москву, но это будет вечность спустя. Сейчас я столкнулся со Стамбулом. Разбившись об этот город, я погружаюсь в воду под него, глядя омертвевшими глазами на подводную часть айсберга. В свободное же от этого время я занимаюсь абсурдным словосочетанием. Перепозиционирую имидж Стамбула. Ребрендинг. И тому подобные заклинания, которые, как и книги вообще, Анна-Мария презирала. Я едва не улыбнулся, когда вспомнил ее, стоя у большого стола с десятью мужчинами в черных - мой был вопреки всему светлый - костюмах. Но сдержался и продолжил водить указкой по стенограммам:

- Стамбул это город десяти городов. Стамбул город семи чудес света...

Да, это всё - правда. Но мне-то не легче.

Я снимаю с себя брюки и остаюсь в одних плавках. Костюм и рубашку аккуратно раскладываю на песке. Все равно они вымокнут. Издалека на меня смотрят двое мальчишек, присматривающие за хижинкой, в которой в сезон продают жратву для туристов. Такого глупца - приходящего на закрытый пляж в дождь, чтобы полежать под ним, - они еще не видели. Или видели, откуда мне знать? Вообще-то на Босфорских пляжах давно уже не купаются. Но здесь отчего-то сделали исключение. Видно, чтобы потрафить даже самым странным туристам.

Я ложусь на матрас, который достал из дипломата и надул, и закрываю глаза. Конечно, я приехал в Стамбул вовсе не для того, чтобы переписать его историю - историю трех цивилизаций - для кучки наглых туристов.

Стамбул – это кладбище. Я хороню здесь тебя, Анна-Мария, я хороню здесь наш роман, такой притягательный для меня, и, что самое важное, я хороню здесь себя. Забросать все это землей в спешке было бы просто обидно. Поэтому я провожу полную траурную церемонию предания земле прежнего себя со всей своей жизнью. Разумеется, это не означает, что я собрался себя убивать. Какая глупость. Ты, Анна-Мария, этого бы не одобрила. Какой смысл убивать мертвеца? Теплый дождь льет мне на спину, и каким-то шестым чувством я улавливаю еле слышное колебание песка. Мальчишки на костюм вряд ли позарятся, и дело тут вовсе не в порядочности, которой у них нет. Да и не может быть. Ведь ее вообще не существует. Что такое порядочность? Если ребенку, чтобы не умереть с голода, нужно украсть, пусть ворует. Живи сам и давай жить другим. Мальчишки не украдут костюм, потому что это будет означать для них потерю рабочего места. В последний день работы они сопрут отсюда ключи от ворот Святого Петра. Итак, это не мальчишки, решаю я и открываю слипшиеся от воды глаза, уже зная, кто это. Так и есть.

Чайка Анна-Мария прилетела.

18

- Из этого окна, - наклонив голову, будто ограниченный ребенок, глядела Анна-Мария вниз, - выбрасывали людей во время погрома.
- Странно, что ты об этом говоришь, - удивляюсь я, - ведь вы, молдаване, неспособны на такое ужасное злодеяние.
- Погром устроили русские, но это неважно, - повернулась она ко мне, - давай перепихнемся прямо здесь!

Ее лексика учащейся медицинского училища, - а я был знаком с тамошними ученицами и знаю, о чем говорю, - иногда ставит меня в тупик. Не глупая, но не читает, богатые родители, и дворовое, судя по замашкам, воспитание. Я расстегнул курточку Анны-Марии и спустил ей джинсы до щиколоток. Задрал свитер до

лифчика и усадил на широкий подоконник. Трехэтажная бывшая синагога, которой предстояло стать синагогой, пустовала. Внутри было уже чисто, но основной ремонт наметили, судя по объявлениям на заборе у здания, на следующий год. Третьего этажа, по сути, не было, - так, небольшая мансарда с огромным окном. Зато потолки были не меньше десяти метров, и здание, пусть всего в два с половиной этажа, было очень высоким. Понятно, что для тех, кого отсюда выбрасывали во время погрома, это был первый и последний полет. Я развел Анне-Марии ноги, сунул голову под джинсы, подставил плечи под ее икры и всадил. Сначала стоял у меня не очень хорошо - все-таки было прохладно, - и Анна-Мария это, видимо, чувствовала. Но потом разошелся, и она стала постанывать, и даже обняла меня за шею. Когда я прижимал ей ноги к бокам, хуй доставал до матки, но делать так часто было достаточно тяжело: из-за высоты подоконника приходилось вставать на цыпочки, а в туфлях было не очень удобно. Но хватало и этого, потому что Анна-Мария, неловко как-то содрогаясь и сжимаясь, кончила раза два. А я нет. Поэтому, передохнув пару минут, снова начал ее трахать. Она уже очень быстро, после второго оргазма все-таки, завелась, и не на шутку. Начала царапать ногтями ше, и кусать мне губы. Отклоняться не получалось, потому что ее ноги с неснятыми джинсами образовывали что-то вроде хомута.

- Я оседлал Анну-Марию, а Анна-Мария оседлала меня, - прошептал я ей в ухо, - маленькая шлюшка оседлала меня. Оседлала меня, девочка...

В другой раз она бы мне сказала: какая я тебе девочка. Но не тогда. Тогда она уже была не в том состоянии, когда говорят, а просто утробно ухала, пытаюсь подмахивать, что было ну никак невозможно. Сиди спокойно, Анна-Мария, хотел сказать я ей, сиди спокойно, я тебя трахну, я тебя оприходуя, уж ты не беспокойся, только сиди спокойно, не сорви этот слаженный процесс, это вперед, вперед, назад и вперед так сильно, что у тебя матка изо рта вот-вот выпрыгнет. Сиди смиренно, Анна-Мария, не то соскользнешь с моего члена, а я так разозлюсь, что вышвырну тебя из окна, откуда во время погромов вышвыривали. Ты разлетишься по асфальту брызгами красного и оттенками желтого, ты станешь мозаикой, Анна-Мария, и я кончу на твои разбитые губы. Но ты этого уже не почувствуешь, а ты так это любишь, поэтому нишкни, Анна-Мария. Застынь как море перед цунами, Анна-Мария, я сейчас заполню тебя огненной жидкостью, и ты взорвешься как бомба над Хиросимой. Сиди паинькой, Анна-Мария, ну пожалуйста, а я буду пилить тебя, как по струнам смычком, и ничего мне от тебя не нужно, даже игры не нужно, просто сиди себе тихо и, замерев, жди. Жди, Анна-Мария, я вот-вот кончу. Я хочу продолжать щекотать тебе изнанку брюха, Анна-Мария, а может, даже вспорю тебе его.

Когда кричать она уже не могла, а только визжала, я стащил ее с подоконника и просто подкидывал на руках. Как всегда, когда упускаешь момент для того, чтобы кончить, член стал нечувствительным. При этом трахаться особо и не хотелось. Я понял, что могу трахать ее еще часов пять. Это было неудобно, потому что в заброшенном здании не было постели, и стоять все это время было бы тяжело. Но это было бы прекрасно, потому что я мечтал вытрахать ее как американцы

вытрахали джунгли напалмом. Я снял ее с члена и поставил на колени. Она с отсутствующим видом оперлась о пол одной рукой, а другой размазала по лицу пот и тушь для глаз. Из-за этого Анна-Мария стала выглядеть так, будто ее избили. Я потрепал ее по лицу, но она почти не реагировала. Видно было, что она устала.

- Я устала, - сказала она, - очень.
- Плевать мне, - сказал я, - на то, что ты устала. Ложись на пол и раздвигай ноги, говорливая девка.
- Я устала, - сказала она. – И кто еще здесь говорливый. И здесь грязно. Куда ложиться? Прямо на пол?
- Постели под задницу куртку, Анна-Мария, - возмутился я, - что ты придираешься. Грязно, устала. Давай, давай.
- У тебя есть трава? – спросила она, подпрыгивая, чтобы снять джинсы. – В смысле наркотики?
- Да, - я гладил член, пока она раздевалась, - но трава не наркотик. Это алкоголь, который можно курить и после которого нет похмелья.
- Типа твердой водки, которую можно грызть? – улыбнулась она. – Как в анекдоте.
- Как в книге одного русского писателя, которого я знаю лично. Силаев.
- Опять русские, - поморщилась она, - и откуда ты знаешь писателя?
- Я сам писатель, Анна-Мария.
- Правда?! – очень и так искренне удивилась она, и я даже не разозлился.
- Анна-Мария, - признался я, - пока мы будем курить, у меня упадет.
- Ничего, - сказала она, - я отсосу. Иди сюда.

Я подошел, она протянула мне мои джинсы. Я достал готовую, - ненавижу готовить все в городе, - сигарету и подкурил. Анна-Мария схватила меня за поясницу. Заглотнула и стала скользить. Вперед-назад, вперед-назад. Время от времени я отрывал ее голову, и вдвухал дым прямо в нее. Поэтому во рту у нее стало не горячо, как обычно, а как будто там кипяток. Было здорово.

- У тебя во рту словно пар, Анна-Мария, - взял я ее за уши, - это так здорово. Сауна для моего члена. Хватит. Хватит!

Она недоуменно посмотрела на меня, но я не дал ей продолжить и толкнул на куртку. Она упала. Я снял с левой руки командирские часы с надписью «50 лет ВМФ СССР», которые подарил мне перед отъездом в Россию отец и положил их рядом ее головой. Поставил определитель. Объяснил:

- Трахаться перестанем, когда стрелка будет вот здесь.

Она, наконец, улыбнулась, и мы начали. Анна-Мария задрала ноги. Только тогда я увидел, что она все еще в носках. Через три часа левый как-то сполз. А вот правый продержался до самого конца. Я кончил в нее, - причем еле-еле, пришлось черт знает что навоображать, ведь член уже был словно чужой, - и мы еще час лежали в заброшенной синагоге, остывая и приходя в себя. Вконец уставшая Анна-Мария уснула, я потихоньку, лежа, натянул на себя джинсы и глядел, как окно темнеет, и листья в нем из ярко-золотых становятся сначала желтыми, затем темно-желтыми, серыми, и, наконец, черными. Глядел то на них, то на Анну-Марию. На нее глядел вскользь, потому что голова ее была на моем левом плече, и лица мне не было видно. Смотрел на ноги, на опускающийся и поднимающийся живот, - она дышала им, - на складку между этим плоским животом и пупком. Благодаря этой складке и было видно, что здесь полагается чему-то обвисать. Фигура у нее была идеальная. Ты просто красавица, Анна-Мария. Иногда ветер все-таки поднимался, пусть и не такой сильный, как днем, и листья падали не вниз, а чуть вбок. Как раз в окно. Постепенно они у подоконника собрались, как цветастая лужа после дождя. Но и она посерела. Стало совсем темно и чуть неприятно. Я подумал о том, что в заброшенном здании могут ночевать бродяги, и решил разбудить Анну-Марию. Но сам задремал, а потом проснулся оттого, что наступил день.

Но это, конечно, был не день. Просто зажегся фонарь напротив, из-за которого в мансарде стало очень светло.

И Анна-Мария проснулась.

- Ты классно трахаешься, - сказала она, едва проснувшись, - не ожидала. Можно считать, наше знакомство началось именно отсюда.
- Спасибо. Мне приятно. Правда, у меня не всегда и по настро...
- Еще хочу, - зевнула она.
- Ну ты и блядь, Анна-Мария, - сказал я. - Ну ты и блядь.

Одел ее и потащил домой.

19

В Стамбуле третий день дождь.

Чайка Анна-Мария сегодня прилетела позже, чем обычно. Мне показалось, что она прихрамывает, но это может оказаться иллюзией: чайки передвигаются бочком,

переваливаясь, и, наверное, она просто так ходит. А может, специально заваливается на одну ногу, чтобы разжалобить меня еще больше. Хотя куда уж. При виде этой чайки у меня глаза на мокром месте. Весь Стамбул сегодня, вчера и позавчера – одна вода на ровном месте. Туристический рай. Я зомбирую этим словосочетанием туристов, я вставляю его где угодно и как угодно: им напичканы все мои работы, концепции и статьи. Туристический рай, рай для туристов, рай, туристы, туризм. Это не считая многочисленных синонимов: отдыхающих, гостей, Эдема, и прочая, прочая. Я шпигую этими словами все так же, как шпигую тобой, Анна-Мария, плоть и сало своих воспоминаний. Ты специя моей жизни. Без тебя она пресна и жирна.

Ты дала моей жизни вкус и аромат диких трав.

Я вынимаю из рюкзака размороженную рыбу и бросаю куски чайке Анне-Мариин. Она уже привыкла ко мне. Подходит совсем близко, не на вытянутую руку, но все же почти. Еще немного, и чайка Анна-Мария позволит мне погладить себя. Говорят, с этим надо бы осторожнее, потому что чайки цепляют на мусорках всякую заразу, да и о птичьей гриппе трубят все газеты. Но я слишком долго работал в газетах, чтобы верить тому, о чем они трубят. От судьбы, говорят на Востоке, не уйдешь. Только здесь, в Стамбуле, эта банальность, этот штамп приобретает звучание искренности. Видимо, все дело в атмосфере города. Она такая солидная, такая мистическая, такая древняя, настолько подкрепляет собой всякую мудрость, всякую древность, что невольно вспоминаешь – наиболее внушающими доверие лица бывают у самых отпетых мошенников.

Чайка подпрыгивает, и я вспоминаю о ней. Оказывается, я сижу, глядя в пролив, с согнутой рукой, а рядом лежит рюкзак. Я понимаю, что сейчас очень похож на Анну-Марию, когда она застывала, глядя в пустоту. Ее привычка. Что же. Хоть это ты мне оставила, Анна-Мария. Я вытряхиваю из рюкзака остатки рыбы и тактично отхожу в сторону, чтобы чайка Анна-Мария могла доест, не опасаясь моих рук. Она не понимает, что бояться ей не то чтобы нечего, но просто нет смысла.

От судьбы уйти нельзя, а вот прийти к ней можно запросто.

20

Анна-Мария сидела на краю ванной и брила лобок. Я лежал у нее в ногах, -благо размеры ванной, купленной ее папашей в дорогом магазине Бухареста, позволяли, - и блаженствовал. Она закончила и сунула в себя палец. Сказала:

- Моя девочка, моя лысая девочка, - потом засмеялась, хлопнула меня по макушке и добавила, - и мой мальчик, мой лысый мальчик.

- Анна-Мария! – мне нравилось произносить ее имя вслух. - Прекрати! Шутки идиотские.
- Почему, - спросила она весело, но ничуть не обидно, - мужчины так нервничают, когда лысеют?
- Наверное, волосы это сила. Как у Самсона, помнишь? Хотя, прости, ни хера ты не помнишь, потому что не читала, и не знаешь.

Она выпрыгнула - сразу, махом, оперевшись о край ванной, - на коврик и стала разглядывать себя в зеркало. Я закрыл глаза, потому что вода попала мне на лицо. Анна-Мария, несмотря на стройность, была очень крепкой физически. Занималась когда-то гимнастикой, даже норму мастера спорта выполнила. Иногда, когда Анна-Мария, отойдя от обычной спячки, бесилась, я побаивался. Одним ударом ноги эта задастая спортсменка могла сломать ребро. Особенно такому тюфяку, как я.

- Расскажи, - сказала она, оттягивая кожу на шее, - давай, про Самсона?

Минут пятнадцать я, как мог, пересказывал ей содержание библейского сюжета. Это оказалось непросто: Анна-Мария слушала ее не как притчу, а как вполне реальную историю, поэтому у нее возникло множество вопросов. Ответить на них я не мог.

- Чушь, - приговорила она двухтысячелетнюю легенду, - полная. Ерунда какая-то.
- Анна-Мария, - попробовал объяснить я, - речь идет об ассоциациях. Волосы у многих народов это вместилище мужской силы.
- Наоборот, - она была серьезна, - если мужчина лысеет, значит, у него прибавилось мужских гормонов.
- Уф, да какая разница!

Она вытерла лицо и начала мазать его кремом. Перед каждым мазком Анна-Мария замирала надолго, как художник перед решающим этапом картины. Оценивала, присматривалась. Подносила руку к лицу, потом, словно испугавшись, убирала. Наконец, решалась, и тогда быстро и четко накладывала крем, прихлопывая его в кожу.

- Ты мажешь лицо кремом, - устроился я в ванной поудобнее и начал добавлять кипятка в остывшую воду, - руководствуясь китайским «Искусством войны».
- А?
- Наблюдаешь, анализируешь, делаешь выводы, а уж когда выносишь решение, действуешь быстро и без сомнений. Как искусный китайский полководец!

Анна-Мария с недоумением оглянулась на меня, закончила с кремом и обернула вокруг головы тюрбан. Задрала поочередно руки и смазала подмышки дезодорантом. Понюхала, хорошо ли лег запах. Придирчиво ощупала промежность и, удовлетворенная, закрыла шкафчик с косметикой и ванными принадлежностями. Похлопала меня по щеке. Сказала:

– Ты столько херни несешь. Тебе нужно расслабиться, наконец.

21

Расслаблялся я в кресле. Анна-Мария, стоя на коленях возле меня, сушила волосы феном и пыталась со мной разговаривать. Но из-за шума мы это быстро оставили. Она, играя, то и дело направляла горячий поток воздуха то на мое лицо, то на грудь. Затем перешла на член. Грела его то феном, то своим ртом. Просто брала и держала. Как рыба, которая прячет икру от хищников во рту. Постепенно у меня встал, и она перешла к более энергичным действиям. Фен гудел, лежа где-то под креслом, но было уже все равно. Анна-Мария долго и старательно облизывала меня, потом на руках, легко, как гимнаст на кольцах, поднялась над креслом, и, раздвинув ноги, упала на меня. Раз, и я упираюсь в самую матку. Анна-Мария застонала, прислонилась кончиком своего носа к моему, широко открыла глаза, устала в мои и стала раскачиваться.

Я наконец расслабился.

22

В Молдавии нет ничего хорошего, кроме погоды. Это совершенно верно, за одним исключением. Погода в Молдавии тоже плохая. Поэтому в самый разгар нашего с Анной-Марией романа в городе пошел дождь. К счастью, ее это, в отличие от меня, не вгоняло в депрессию. Когда мы закончили и фен все-таки выключили, Анна-Мария, как всегда после траха, пришла в необычайно хорошее расположение духа. Смеясь, она заставила меня напялить белье, носки, серые в обтяжку джинсы, белую кофту поло и поверх этого – серую куртку. Все это купила мне она.

– Анна-Мария, - вяло протестовал я в магазине, куда она меня затащила предыдущим вечером - у меня есть деньги на вещи, так что не смей тратить свои. И потом, мужчине новых вещей нужно меньше, чем вам, самкам. Давай лучше пойдем в постель, баиньки.

Конечно, я сопротивлялся для вида. Мне было чертовски приятно ее внимание. Да и новые вещи я любил. Правда, наши с ней вкусы несколько расходились: когда я

увидел свое отражение в витрине, выходящей на проспект Штефана, то был ошеломлен.

- Эти джинсы обтягивают меня так, Анна-Мария, словно я женщина. А мне уже тридцать. К чертям, я не буду это носить.
- У тебя красивые ноги, - она была непреклонна, - эти джинсы тебе очень идут. Мы купим к ним хорошие туфли. Не идиотскую обувь маленького Мука с острым носком, а хорошую обувь, которая тебе пойдет. Иди в примерочную. Я нашла тебе чудную рубашку и потрясающий синий шейный платок. Синий цвет тебе очень идет. Правда ведь, миляга?

Миляга - наглого вида продавец в молодежном прикиде, явно педик, - с наглой ухмылкой кивал. Анна-Мария привычно потрепала его по щеке, и педик заулыбался еще маслянее. Все, кого бы она не потрепала по щеке, начинали глупо улыбаться. Даже я. Анна-Мария взяла продавца за подбородок, для чего ей пришлось встать на цыпочки, и уставилась ему в глаза.

- У тебя блядская душа, - подумав, как обычно подвела итог она, и подвела его громко, - ты любишь наряжаться и часто любишь себя собой.

Педик кивнул, и я решил, что был несправедлив к его ориентации. Анна-Мария явно пришлась ему по душе. Она всем приходилась по душе. Я невнятно похмыкал из примерочной, символично соглашаясь с ее - как всегда - верной и точной оценкой педика-продавца. Тот шел за Анной-Марией, как ребенок за гамилтонским крысоловом, широко улыбаясь и прижав какие-то шмотки к груди. Но Анна-Мария уже забыла о нем. Она улыбаясь, подошла к примерочной и через штору сказала:

- Это я не о нем сказала, Лоринков. О тебе! Слышишь, гений ты херов?! О тебе.

23

Потом она сунула мне в руки свой огромный, изысканный, дорогой и совершенно нелепый рядом с ней зонт. Выпихнула меня на улицу и взяла под руку. Под зонтом могли бы укрыться пять таких пар, как мы. Но Анну-Марию это совершенно не волновало. Решительно выставив вперед подбородок, она скомандовала:

- Курс на старый город! Выше голову, вы же мужчина!

И мы пошли. Транспорт Анна-Мария не признавала, за исключением такси, которым пользовалась, чтобы попасть в аэропорт. Улетала она часто. Но мы с ней

это не обсуждали, вернее, я попробовал, но она просто не стала говорить на эту тему. Анна-Мария никогда не затыкала рот, не обрывала, не скандалила. Если она не хотела о чем-то говорить, она не говорила, и меня в такие моменты просто не замечала. Поэтому тема аэропортов была закрыта в самом начале. Оставалось не так много. Прогулки по Кишиневу, секс да моя болтовня на тему сюжетов прочитанных мной книг, которых, справедливости ради отмечу, я прочитал немало. Но Анна-Мария над этим только смеялась. Как и над тем, что я пишу книги. Вернее, писал. После начала нашего с ней романа я ни строки не сделал. И совершенно из-за этого не расстраивался.

- А до того, как познакомиться с тобой, - говорил я, обходя лужи, а Анна-Мария в это время висела у меня на свободной руке, о чем-то думая, - я писал, писал и писал. Как проклятый. Если у меня получалось меньше двух книг в год, я приходил в отчаяние. Считал, что утратил эту способность.
- Какую? – удивленно встряхивалась она.
- Способность писать, - терпеливо повторял я все, - а сейчас же я не пишу ни черта, но совершенно спокоен. При этом, что вдвойне удивительно, я четко осознаю, что не утратил способность писать. Но не пишу. Но - спокоен.
- А значит, - резюмировала она быстро наскучивший ей разговор, - совершенно свободен. Разве не это главное, Владимир, как вас по отчеству?
- Владимирович, - угрюмо ответил я, - давай зайдем в собор погреться.

Она удивительно легко согласилась. Ей и правда все это было интересно и любопытно.

Двери Кафедрального Собора Кишинева, - праздновавшего свое 200-летие, о чем сообщала надпись на синей ленте на здании, - были полураскрыты. Лента делала церковь похожей на голову каратиста, обвязанную идиотской полоской с иероглифами. Как в дешевом гонконгском боевике начала 90-х. Когда я сказал об этом Анне-Марии, она лишь отмахнулась, попеняв на мое вечное стремление что-то с чем-то сравнивать. Мы поднялись по белым ступенькам в храм и попали как раз к церковному таинству. Двое попов в роскошных синих, - вот бы мне такую, мелькнула на мгновение мысль, - накидках, вышитых золотом, крестили двух детей и одного взрослого мужчину, который стоял, обмотанный простыней. Священник что-то быстро читал на старославянском, а неподалеку от него и тех, кого крестили, столпились их родственники и друзья. Я поморщился.

- Вы не верите в Бога, Владимир Владимирович? – язвительно зашептала Анна-Мария и потащила меня по всему храму. – А-я-яй!

Собор был великолепен. Казалось, золото стекает с него, как вода с мокрых стен. Сочится, как из губки. Дешевая роскошь молдавских православных храмов проявилась в нем наиболее ярко. Тем не менее, даже такая - фальшивая - роскошь

потрясала. Это тем удивительнее, думал я, что Собор Кишинева – обычная провинциальная забегаловка для уездных попов, ничего общего с великими храмами мира не имеющая. Но я, признаюсь, любовался больше Анной-Марией. Она явно дисгармонировала с обстановкой в Соборе. Ведь Анна-Мария, когда не застывала, всегда крутилась, что-то высматривала, вынюхивала. Очень напоминала волчок, пущенный по полу да так и забытый, или веретено в работе. В общем, вела себя, как собака, потерявшая потаску, или, что будет точнее, обыкновенная суетливая ведьма.

– Ты словно ведьма, Анна-Мария, - улыбнулся я ей.

Она, не слушая, дотащила меня до огромной стальной бочки, и поставила там. За бочкой была какая-то икона.

– Молись, - ткнула меня в грудь Анна-Мария, задыхаясь от смеха, - молись. Это местный святой, Паисий. Он считается покровителем молдавских летописцев, и других идиотов, которые тратят жизнь на бумагомарание. И не дуйся, милый. В конце концов, тратить ее, жизнь, на что-то все равно придется.

– Я не умею молиться, - соврал я.

– Ты врешь, - торжествующе сказала она, и от радости даже подпрыгнула, – Вы врете, Владимир Владимирович. Ну и ладно! А вот я помолюсь ему. Помолюсь святому Паисию, дурачку, за вас, дурачков. Горячо и истово. Смотрите!

Я отошел в тот угол храма, где была подсобка, и стал смотреть на нее. Анна-Мария отчаянно сцепила руки и что-то шептала, улыбаясь. Я отвернулся и пошел к баку с водой, где, наконец, понял, что это – святая вода. На вкус она была чересчур дистиллированной. На всякий случай я не только попил, но еще и умылся. Даже волосы намочил. Хотя те и так были мокрые: пылинки косого дождя достали мою голову и под зонтом.

Несколько лет назад, когда я все еще верил в Бога, я так же стоял в храме, только другом, католическом, и глядел на церковные ряды. Люди на них сидели как ангелы, с белыми свечами, одетыми в бумажные кружочки, чтобы воск не капал на руки. Рядом со мной была моя жена, Елена. Та была неверующая, но мой католицизм ей нравился. Это давало возможность знакомиться с богатыми людьми из польской диаспоры Кишинева, и потом, католическое богослужения для новичка – это всегда стильно. А Елена была всегда и везде там, где стильно. Поэтому мое вероисповедание пришлось ей очень кстати. Как и мое негромкое, но все же достаточно известное для честолюбивой провинциальной сучки, литературное имя. Когда она поняла, что писатель это вовсе не выходы в свет и «знакомьтесь это жена...», а непреклонная действительность у тебя под боком – человек, который всегда в депрессии, - Елена призадумалась. К чести ее скажу, что ей хватило мозгов сориентироваться после одного разочарования. В католичестве

она разочароваться не успела – бросила меня еще раньше и, хоть не обратилась, изредка приходила в костел поцепляться взглядами с такими же дешевками в красивых пальто.

А вот я разуверился. Причем, как и полагается серости, без каких-либо потрясений. Вера в Бога вытекала из меня, как песок из часов. Оставалось его все меньше, а когда он весь вытек, меня никто не перевернул. Я перестал верить в Бога, перестал писать и перестал выпивать – как-то почти одновременно, сразу и с появлением Анны-Марии. Интересно, подумал я, выпив еще воды из бака, есть здесь какая-то связь?

И почувствовал себя очень промокшим и уставшим.

В той части церкви, где шло крещение, наступала кульминация. Попы заголосили совсем тонко, дети закричали, а стук зубов взрослого парня был слышен даже мне. Родственники крещенных то и дело выходили из церкви, чтобы согреться вином. Я тоже вышел, и кто-то, с белой лентой через плечо, протянул мне стакан.

- Вы ошиблись, - сказал я, - я не с ними.
- Какая разница, - сказала рука в белой перевязи с вином, - выпейте за новообращенных.
- Я бы тоже выпила! – радостно сказала вылетевшая из церкви Анна-Мария, стянув с головы мой шейный платок. – И еще как!

На ступенях, как всегда, когда веселая Анна-Мария врывается в людей, словно атакующий дельфин в рыбную стаю, начался переполох. В нее влюбились все и сразу. Анна-Мария щебетала с ними на румынском, за что они были готовы расцеловать ей руки, Анна-Мария трепала по щечке сестру крещеного мальчика, делилась секретом макияжа с кумой крестного, которая приехала из села на денек, Анна-Мария пила стакан вина, высоко подняв его, и выкрикивая «Многая лета», Анна-Мария была с ними, Анна-Мария была как они, Анна-Мария бурлила. Из вежливости и уважения к Анне-Марии они, конечно, принимали и меня, но я был чужим для них. Это понимали все. Но я вполне довольствовался ролью принца-консорты. Беззубая старуха, давшая мне закусить сыра, что-то спросила на румынском. Я понимаю этот язык, и могу, главное, медленно, говорить, но в гаме ничего не слышал.

- Что вы сказали? – переспросил я.
- Венчаны? – переспросила она на русском. - Не венчаны вы с ней? Ох, какая хорошенькая. Так венчаны?
- Нет, - я смущенно улыбнулся, - нет. Мы вообще не же...

- Обязательно повенчаться. Венчаться нужно! – торжественно сказала старуха и налила мне еще вина.

Но выпить я его не успел, потому что вихрь Анна-Мария уже уносил меня, и ее, и ее зонт со ступенек Кафедрального Собора. Я пожалел тех, кто оставался. Глядя нам вслед, они были готовы плакать, словно дети, от которых улетала Мэри. Анна-Мария тащила меня вниз, к Экономической Академии, прямо через лужи, и улыбалась. Глянула на меня сбоку и подмигнула:

- Теперь все будет хорошо, грустный человек. Все будет замечательно. Святой Паисий поможет. Я говорила. А ночевать мы будем не дома. Сегодня мы путешествуем. Снимем номер в гостинице. Что там за Академией? О, «Турист».

И снова замолчала надолго. Молчала, когда мы прошли цветочные ряды, откуда я чудом успел выхватить розу, бросив деньги торговке, - так быстро Анна-Мария тащила меня вперед, - молчала, когда я умолил ее сбавить темп, и затащил в супермаркет «Фидеско», где купил несколько банок пива и курицу на ужин, молчала, когда я давал деньги портье, и добавлял денег, чтобы нас пустили ночевать без паспортов, потому что мы выходили на обычную прогулку. Молчала, когда мы попали в номер, вполне приличный, что меня удивило, и когда я раздел нас обоих, чтобы обсушить одежду на батареях. Ванная в номере была неглубокая, из тех, в которых моются сидя, и я попытался пристроиться там, свернувшись в калачик. Анна-Мария только фыркнула, грациозно двинув ногой, затолкала меня в край этого маленького четырехугольного бассейна и села в позу лотоса. Из-за освещения низ ее живота был как будто золотистым, и я снова вспомнил Собор. У Анны-Марии золотистая кожа, подумал я, поднырнул и поцеловал ее щель, ставшую подводным гротом, нежно и взасос. С дыханием у меня все в порядке, двенадцать лет занятий плаванием, поэтому я, собрав ее губы, клитор, и даже чуть задницы, всосал ее надолго. А потом вынырнул и облизал грудь. Она, глядя в потолок ванной, вынула из затычки заглушку, и вода стекла. Анна-Мария откинулась назад, притянула меня и, схватив за бедра, буквально засунула в себя. Из-за горячей воды кожа как будто скрипела. Но раза через два все заскользило, как обычно, а она так хотела, что я додолбил ее за какие-то минуты до рычания и оргазма, а потом и второго. Она молча села, и снова начала набирать воду. Я стоял рядом и смотрел на мазки спермы на ее лице, такие похожие на утренний крем. Протянул руку и размазал. Анна-Мария потрогала лицо, легла в воду и сказала:

- Завтра обязательно пойдем к подземным ходам, Владимир Владимирович.
- Каким еще? – не понял я.
- Под рекой, - назидательно подняла она ногу и отставила большой палец на ней, - Бык. Нашей городской речушкой.
- Зачем? В такую погоду я не ходок, Анна-Мария.
- Надо же расширять ваш кругозор, друг мой, - веселилась она, - не все же вам представлять мир по дурацким книжкам. Взгляните на историю сами! А сейчас давайте есть и веселиться.

- Не уверен, - буркнул я, отправляясь за курицей и салатами, - что второе у нас с тобой получится.

Но она и тут оказалась права. Получилось весело. Анна-Мария и вправду стала мила, еда была вкусной, а пиво в меру холодным. К тому же, у нее в вязаной хипповской сумочке - которую она сделала сама, громко похвасталась Анна-Мария - оказалось две сигареты с марихуаной. Первую мы и выкурили за ужином в ванной, а вторую отложили на ночь. Анна-Мария устроила для куриных крылышек гонки в салатных листьях, и очень развеселила меня, прочитав какое-то стихотворение о родине очередного румынского мудака-мессии из местного Союза Писателей.

- Это мой отец, - сказала она, разгоня мыльные острова у груди, - возможно мудака, но не мессия. Все равно ты не понял, о чем здесь речь! Да и какая разница?! Продолжаем веселиться.

Когда мы наелись - салаты зачерпывали прямо руками - то еще раз искупались. Вообще, и она, и я очень любили валяться в ванной. Водные млекопитающие. Животные моря. Киты, по ошибке попавшие на сушу. Потом я спустил воду, вынул Анну-Марию, - она, придуриваясь, перегнулась, как неживая, - и положил на кровать. Вытер насухо, накрыл одеялом, а потом залез к ней и поцеловал прямо в рот, что делал очень, очень редко. А потом мы, первый раз за все знакомство, занимались любовью. Нежно, тихо, ласково и со взаимным уважением. Я едва шевелился, а она тихо подавала мне навстречу задом, и мне казалось, что мы так продержимся до утра, а потом и это стало неважно, настолько, что мы стали кончать, оба, и обильно. И в этот момент обнялись так крепко, что у меня в спине что-то хрустнуло. Я приподнялся, - она вместе со мной, - и снова упал. Расцепляться не хотелось, поэтому мы просто перевернулись, и она стала гладить кончиком носа мое лицо. Как будто буквы выводила. Я в ухо сказал ей:

- Что ты там пишешь...

Она молча продолжала выводить на мне какие-то знаки.

- Анна-Мария, - спросил я, - ты бы пошла за меня замуж?

Она только фыркнула.

Анна-Мария, что за приговор ты чертила на моем лице своим носом, а потом волосами? Что ты написала на мне? Какое заклинание? Что бы то ни было, оно настолько сильно, что я чувствую с собой рядом тебя, как живую. Мне становится так тепло, будто ко мне прикоснулась ты. Анна-Мария, ты рядом? Я открываю глаза. Нет, конечно, никого рядом нет. Даже птиц.

Просто тучи расступились, чтобы дать солнцу возможность еще раз взглянуть на город. Оно и светит что есть сил. Времени мало. Со стороны Азии идет туча.

Но все равно в Стамбуле холодно. Выше пятнадцати градусов по Цельсию, переменная облачность и дожди. Теплые дожди, от которых становится холодно, когда дует ветер. А он дует. Погода переменчивая.

На двадцатимиллионный город нахлынули циклон и воспоминания.

Я прекрасно понимаю, как жалко выгляжу в его глазах, с его историей, его жизнью и его памятью. Интересно, думаю я, откидывая в сторону рубашку, которой прикрывался от ветра, и грею лицо солнцем, притянув его ладонями к себе. Интересно, думаю я, приподнявшись с лежака, интересно, замечает ли он меня, этот город? Или я для него не больше, чем насекомое для лесного зверя? Незначительная форма бытия, которую он даже и не осознает. Города ничего не осознают. Они мертвы. Что не мешает нам, людям, бродить по их белеющим костям. Мы как муравьи, подьедаем остатки прошлого.

Солнце снова заходит за тучу, нашедшую на город из Азии, и я понимаю, что попытка укрыться в Стамбуле не удалась. Анна-Мария все равно нашла меня здесь.

Даже чайкой.

25

– Иногда мне кажется, что она видит что-то, чего не вижу я, понимаешь? Говорят, у детей так. Они разговаривают с кем-то, видят что-то. На самом деле все это ангелы. А потом дети вырастают и теряют это.

Я развел руки, и потом положил подбородок на ладони.

– Все мы, - Корчинский затянулся и задумчиво пустил дым носом, - вырастая, только теряем. Жизнь это бесконечное поражение. Компания восемьсот двенадцатого года.

- Да пойми ты, - я взял у него из руки сигарету и тоже сделал затяжку, - отвлекись... Если ты отвлечешься, то поймешь важную вещь. Она не такая. Не от мира сего. Подарок.

Корчинский покачал головой и ухмыльнулся. Нагрудный карман его рубашки чуть выдавался вперед: смотреть на это мне было радостно и приятно. Теплота предвкушения травы, которая как раз у меня заканчивалась, смешивалась с дружескими чувствами к Сергею. Оказывается, этот человек помнит меня. Любит меня. Готов оказать мне услугу. Едва я позвонил, он сразу же понял, что мне нужно, но, что еще важнее, Корчинский и правда рад меня слышать. Он улыбается, и я вижу, что это он действительно рад: вид у Корчинского забавный для ресторана в кинотеатре. Сергей сидит напротив меня в черном кителе и рубашке. Черные, без идиотских лампас, брюки. Надраенные до блеска туфли. Черное, шитое золотом, и белоснежное. А изредка из этого великолепия выглядывает мой друг Корчинский. Отлично выглядит!

- Откуда у тебя эта форма? – спрашиваю я. – Ведь у нашей полиции униформа такая идиотская и нелепая...

Сергей согласно кивает, и рассказывает, как МВД заказало униформу у какой-то еврейской фирмы. Ну, у этих выходцев из Бессарабии, которых молдаване так ненавидят и которым так усиленно лижут жопу, если тем удастся уехать в Израиль, и потом вернуться сюда с деньгами, объясняет Сергей. Я киваю:

- Евреев здесь ненавидят даже больше, чем русских. Я недавно был в местной синагоге, откуда их выкидывали во время погрома. Кстати, знаешь, где это?

Молдаванин Корчинский пожимает плечами и продолжает. В общем, форму заказали и пошили. Мерил лично министр. Остался жутко доволен. Подписывает контракт, и тут дотошные придурки из отдела внутренних расследований выясняют две вещи. Первая: владелец фирмы никакой не еврей из Израиля, а местный мошенник, который собирается получить деньги за всю партию и оставить МВД с тремя десятками комплектов формы. Вторая: форма это точная копия униформы особых немецких частей, - нет, не СС, не помню, как называются, - которые работали на румынской территории.

- Блеск! – хохочу я. - Блеск и мишура просто!

Ну да, улыбается Корчинский. Скандал замяли, мошенника поймать не успели, униформу закупили у французов, втридорога, зато точная копия формы их ашанов. Ублюдочная одежда. А эти три десятка комплектов себе разобрали, кто куда, офицеры высшего состава. Один комплект Корчинский чудом умыкнул себе. Теперь надевает его, выходя в свет. В нем, скромно признается Корчинский, он

чувствует себя особенно элегантно и уверенно. Врет, конечно. Человек с удостоверением майора МВД в кармане не может не чувствовать себя уверенно. Нет, объясняет Корчинский, уверенно именно как мужчина!

- Постой, - давлюсь я, - так ведь эта униформа не принята, и...

... В ней он совершенный самозванец, заканчивает Сергей под мой одобрителный смех. Бинго! Я хлопаю в ладоши и пожимаю ему руку. Мы совершаем рукопожатие прямо над его фуражкой, тоже, значит, нигде не принятой, но очень красивой. Корчинский разрешает мне померить ее, а сам оглядывает меня еще раз.

- Ты тоже хорошо выглядишь, - говорит он, - в кои-то веки ты хорошо одет, Лоринков, у тебя вещи выглажены, а не только выстираны, и вообще, выглядишь ты, как женщина, которую наконец отодрали. И делают это регулярно!

На мне светлый, хорошего кроя, костюм, который Анна-Мария заказала у портного, который обшивал весь их министерский дом. Борьба с привилегиями... Отсутствие дефицита... Какое лицемерие! Все эти мелкие националистические божки, на самом деле, боролись не за свободу от Москвы, а за свободу от контролирующих органов Москвы, которые могли взять их за жопу. Разумеется, я так и сказал Анне-Марии. Она лишь вздохнула и молча повязала мне итальянский галстук. Я наматывал его на большой палец и снова разматывал, и так много раз, пока Анна-Мария, распахнув полы моего пиджака, сосала мне в прихожей. Она называла эта «ла боту калулуй» («на посошок» – рум.). Я встряхиваю головой и возвращаюсь к Корчинскому. Уверен, он понял, что я вспомнил. Я довольно улыбаюсь и невольно гляжу в тот угол зала, где стоят игровые автоматы.

Анна-Мария выигрывает.

26

Корчинский оглядывает, наконец, Анну-Марию. Хотя до этого даже не взглянул в ее сторону. Это их, полицейские, штучки. Анна-Мария стоит у игровых автоматов и старательно пытается выстроить клубнички, ананасы и груши так, чтобы в подол цветастого ящика посыпался золотой дождь. От этого словосочетания я невольно улыбаюсь. Корчинский по-своему, - но в целом тоже правильно, - растолковывает мою улыбку. Он говорит:

- Где ты, чтоб тебя разорвало, раскопал этот клад?! А с виду ты, рохля рохлей. Надо же!

Я жеманно улыбаюсь и закатываю глаза. Мы хохочем. Суетливый китаец, которого в ресторане здешнего кинотеатра «Лукойл» безуспешно для всех - и для него самого в первую очередь - выдают за японца, приносит нам еду. Рис, сладкие коренья, мясо, будто пропущенное через уничтожитель бумаг, какие-то тушеные в карамели потроха, салаты, что-то морское: всего по чуть-чуть, но в целом получается много. Корчинский оказывается щедрее, чем я думал, и моментально оплачивает счет. Ему не нравится есть, зная, что еда еще не оплачена, объясняет он мне. Я киваю. Корчинский сегодня хорошо заработал – я купил половину килограмма разом. Деньги мне дала Анна-Мария, которая, как и все, кто в деньгах не нуждается, уже выиграла в автоматы уже целое состояние. Я даже начал беспокоиться, как бы она не проиграла эту кучу денег, но потом решил, что это слишком. О том, что деньги на травку мне дала Анна-Мария я, конечно, сказал Корчинскому. Он поставил мне это в плюс.

– Спать с роскошной малолеткой, да еще и жить на бабки ее родителей. Да ты гвардеец, пацан!

Мы снова смеемся, и я думаю, что Сережа славный парень. Мы понимаем друг друга с полуслова. И я прекрасно понимаю, что он не приветствует альфонсов, и он понимает, что я не альфонс. А еще оба мы не умники, но прекрасно понимаем одну вещь.

Если обстоятельства сложились так, что ими можно воспользоваться, то ими нужно воспользоваться.

Иначе воспользуется кто-то другой. Что проку будет, если я стану изображать из себя то, чем никогда не являлся, - сверхпорядочного человека, - и оттолкну Анну-Марию? Она погорюет, да и найдет себе другого, а ведь не исключено, что тот и впрямь окажется альфонсом. Настоящим, из тех, что тянут из женщины деньги и бьют ее. Я так не делал. Анна-Мария могла тратить на меня деньги, а могла и не тратить. Я принимаю ее такой, какая она есть. И в этом нет никакой позы.

Корчинский смотрит на меня пристально, и я вижу, что он понимает: случись что, я буду содержать Анну-Марию, пусть и не так хорошо, как она сейчас содержит меня. Ну, уж как сумею. Это так же ясно, как и то, что Корчинский будет давать мне траву просто так, если я не найду для него денег. Сейчас он дает ее, потому что я могу купить. Не смогу купить, он отдаст даром. А пока все наоборот, и меня это не напрягает. Нисколько.

– И все это за три-четыре недели, - присвистывает Корчинский, - ну, что ж, мои поздравления!

Он действительно рад за меня и не завидует. Кажется, единственный человек из моей прошлой жизни, о знакомстве с которым я не жалею, это Корчинский. Анна-Мария одобрительно кивает ангелу, который бьет в автомат, отчего из того сыпется куча жестяного золота. Кивком головы она просит разменять их на деньги и отнести за столик, где сидим мы с Корчинским. Потом салютует мне и возвращается к игре. Я шлю Анне-Марии воздушный поцелуй. Судя по всему, Сергей ей понравился. Я рад. Интересно, мы бы с ним смогли подружиться? Я думаю, да. Корчинский вспомнил и рассказывает мне о том, как восприняли мое увольнение, и с радостью гогочет.

- Ну ты и прохвост! – хлопает он меня по плечу и ничуть этим не раздражает. – Соскочил с этого конвейера, и след его простыл. Все были в шоке. Ну, а когда пришли в себя, начались сплетни. Ты бы послушал только, что о тебе говорит! Впрочем, мне легче пересказать, чего о тебе НЕ говорили!

После своего ухода с работы, куда я даже за рабочей книжкой не зашел, - да и на кой мне эта идиотская бумажка - я не встречал никого из своей прошлой жизни. Не считая Корчинского, конечно, но его я твердо намеревался взять в свою нынешнюю жизнь. Итак, я не видел никого из прошлого. Но я слово в слово мог бы пересказать все, что скажет Корчинский. Молдавия сама по себе дыра, а уж мой бывший мирок провинциальных СМИ, гадюшников-пресс-служб и окологазетных сплетен и неудачников – дыра узкая. И ощупать ее досконально за 10 лет работы для меня не составило никакого труда.

Само собой, меня с ног до головы облили говном – этот мирок не прощает презрения к себе, эти белки не в состоянии даже представить, что кто-то может быть счастлив вне их колеса, поэтому очень не любят дезертиров. Раньше бы меня это немножко позлило. Сейчас я улыбаюсь и гляжу на Анну-Марию. Корчинский еще раз понимающе кивает мне и принимается за еду.

- Что такое настоящая жизнь, - спрашиваю я скорее себя, - я живу с женщиной, с которой провожу все время. Мы не расстаемся. Просыпаемся вместе и засыпаем, а если и не видим друг друга, то только когда Анна-Мария улетает на день -два. Я гуляю с ней, трахаю ее, расчесываю ей волосы, лижу её, даю ей в рот, готовлю ужины, глажу спину на ночь...

Корчинский, подняв брови, деликатно кивает, глядя в тарелку.

- Нет, нет! – торопливо объясняю я. - Дело не только в сексе, хотя и это очень, очень важно! Мы и просто проводим время вместе. Я не понимаю, чем эта жизнь менее бесцельна, чем каждый день ходить куда-то, чтобы делать вид, будто стремишься к чему-то? Разговаривать с людьми, с которыми тебе неинтересно разговаривать, и делать то, что тебе не хочется делать. Им кажется,

что я веду бесцельную жизнь. На самом деле только я и живу, а они же - мертвы все!

- Ты прав, - кивает Корчинский, - но для такой жизни, как у тебя, нужны деньги. Иначе ты проиграешь.

Я знаю, что он прав, но деньги не проблема. Ведь они есть у Анны-Марии.

- По-моему, - осторожно говорит Корчинский, - ты просто влюбился. Надеюсь, это надолго.
- Знаешь, - я тоже осторожен, - мне очень хорошо с ней.
- Да нет, - хохочет Корчинский, - я вовсе не думаю, будто ты можешь бросить ее. Нет, конечно! Я надеюсь, что она не бросит тебя, вот и все.

Анна-Мария снова выигрывает и радостно показывает язык автомату. Сегодня она выглядит чуть полнее, чем обычно. Это из-за телесного цвета чулок на ней и кремового плаща. Поначалу он мне не очень нравился, - слишком напоминал те модели, которые таскали на себе подружки Ален Делона во французских боевиках 70-х годов, - но потом Анна-Мария убедила меня, что ей идет. Я сделал вид, что убежден. Оказалось, Анна-Мария права. Плащ ей и вправду идет. Еще на ней были белые туфли, и во всем этом ансамбле Анна-Мария напоминала счастливую парижанку эпохи студенческих революций. Или еще не начавшую полнеть крестьянку, - у которой, тем не менее, все впереди, - которая приехала в город учиться. Вдобавок ко всему она, вопреки обыкновению, густо напудрилась, и выглядела свежо, как сметана.

- Она прелесть как хороша, - серьезно, как и полагается говорить штампы, сказал Корчинский, - и ты будешь ослом, если ее лишишься. Это шанс всей твоей жизни. Ты это понимаешь. Это твой единственный шанс встретить старость с женщиной, которую хотят поиметь все мужики в этом зале, включая этого паршивого псевдояпонца!

Я согласно кивнул. Когда Корчинский забывал о том, что он – рубаха парень и глава пресс-службы полиции города, его язык становился из казарменно-скучного точным и доходчивым. Сергей стал загибать пальцы.

- Она дает тебе в любом месте, в любое время и как угодно, - сказал он, - да не ржи ты! На самом деле это очень важно! Если бы ты знал только, из-за чего я развелся в первый раз...
- Твоя жена пренебрегала минетом? – уточнил я.
- Моя жена пренебрегала всем на свете, - угрюмо ответил Корчинский, - кроме телефона.

- Постоянно трепалась?
- Нет, - угрюмо и рассеяно ответил он, - занималась своим магазином мобильных телефонов. Телефон, телефон, телефон. Новая модель, старая модель. Все, что я слышал круглые сутки. Со временем у меня даже развился комплекс из-за того, что мой член не оснащен новой клавиатурой и в него не встроен фотоаппарат!
- Не знал, что ты был женат, - посочувствовал я.
- К черту меня, - налил себе вина Корчинский. – Давай о вас. Она идеальна в сексе, как ты рассказываешь. Это раз. У нее легкий характер. Два. У нее богатые родители, а это знаешь, что значит?
- Что мы будем жить за их счет?
- Это само собой, - пожал плечами Корчинский, - но самое главное, это значит, что вы и правда сможете вместе ЖИТЬ. А это то, что не удастся ни одной семейной паре нынче, старик. Они, семьи, перестали жить вместе. Они просто ночуют в одном углу, откуда разбегаются по утрам искать пропитание. Ну, если возникнет потребность, вечером они перепихнутся. О какой жизни тут может идти речь? Они сосуществуют. Вы же, ты, счастливая посредственность, и эта роскошная телка, Анна-Мария, вы живете. Понимаешь?

Анна-Мария запахнула воротник плаща, хотя, казалось, дальше некуда, и повернулась к нам. Только тогда я понял, что ей не холодно, а просто под плащом ничего нет. Она пошла в туалет, виляя бедрами. Я молча встал, напялил на голову фуражку Корчинского и пошел за ней. В туалете, как обычно в молдавских кинотеатрах, пахло дешевым мылом для рук. Анна-Мария была в четвертой от входа кабинке. Яростно дрочила себя, привалившись грудью к тонкой перегородке. Она даже плащ расстегнуть не успела, просто задрала его. Из-за каблуков, которые она носила не очень часто, задница у нее виляла особенно блядски. Это меня моментально завело. Я расстегнулся и засадил ей так, что она ударилась головой о перегородку.

- Эй, потише там, - зло сказали сбоку, - легче, да?!

Анна-Мария уставилась непонимающим взглядом в потолок и нарочито громко и порнографично ответила:

- Аа-а, глубже!!!

Соседняя дверь распахнулась, и оттуда выскочила телка с крашенными черным собранными в хвост волосами, темной косметикой, в розовой куртке и розовых же сапогах, в которые были заправлены обтянувшие ее тонкие ноги джинсы. Обычная молдавская копия потрепанной страницы из «Лизы» трехгодичной давности. Таких всегда полно в межсезонье в кишиневских супермаркетах, по которым они, капризно дуя подкрашенные губы, прогуливают подцепивших их на заработках турок или итальянцев. Ничего женского в ней, кроме дыры, не было. Да и была ли дыра?

Я сомневался.

Телка с недоумением, а потом злостью смотрела, как Анна-Мария, у которой ум за разум зашел, насаживалась на меня, - чтобы податься назад, ей приходилось высовываться из кабинки задницу потому что я стоял у самой двери. Так мне хотелось. Мы смотрелись прекрасно, я знал: крепкий мужчина в хорошем костюме, со стильной фуражкой на голове, и голый зад на полных ногах, подрагивающих на неудобных и высоких туфлях. Я размахнулся и вlepил по заднице со всей силы рукой. Анна-Мария застонала еще громче, а девка брезгливо скривила губы и развернулась к выходу. Я знал, что она не позовет охрану. Когда ее шаги за дверью затихали, я начал спускаться и кончал так долго, что из Анны-Марии полилось. Я хотел застегнуться и молча выйти, но она схватила меня за бедра. А потом сказала:

- Я хочу, чтобы меня трахнул твой друг.

Несколько минут я стоял неподвижно. Анна-Мария, улыбаясь, села на унитаз и откинулась на бачок. Расстегнула плащ и стала гладить грудь.

- Анна-Мария, ты сломаешь бачок, - сказал я каким-то самому мне неприятным голосом, - здесь будет потоп.
- Здесь уже потоп, - сказала она. - Великий потоп...
- Ты хочешь, - переспросил я, - чтобы я позвал Корчинского. Чтобы он пришел сюда.
- Я хочу, - она полузакрывает глаза и стала трепать себя яростно, как испанский музыкант гитару на концерте, где мы недавно были, - чтобы ты позвал Корчинского. Чтобы он пришел сюда. Чтобы он трахнул меня.

Я пошел к умывальнику и открыл горячую воду. Потом высушил руки. Было тихо, очень тихо, поэтому дыхание Анны-Марии я слышал очень хорошо.

- Если хочешь, - сказала она, кончив, - приходи с ним.

Я вышел из туалета, где было тихо, в холл кинотеатра. Музыка играла очень громко. У рекламного щита с информацией о новом фильме стояла, брезгливо косясь на меня, давнишняя девица. К ней подошел мужчина лет пятидесяти, - так я и знал, итальянец, - и что-то забормотал ей в ухо. Наверное, зовет в туалет, злорадно подумал я. Потом опять подумал о том, что весь кинотеатр уже, наверное, знает, что я трахнул Анну-Марию в туалете, и сейчас узнает, что Корчинский трахнет в туалете же ее же - Анну-Марию. С другой стороны, почему нет, подумал я и развеселился. За столиком в углу ресторана раскуривал сигару Корчинский. Я, не спеша, подошел к нему, и уселся напротив.

- Хочешь вина? - спросил меня Корчинский.

- Нет, - сказал я, прикуривая, - в данный момент я хочу передать, чего хочет она. А она хочет, чтобы я позвал в женский туалет Корчинского. Чтобы он пришел туда. Чтобы он трахнул ее.
- Вот как? – как будто не удивился он.
- Да, - сказал я, и, чтобы не быть жалким, стал великолепным. - А еще она сказала, что и я могу к вам присоединиться.
- Я бы и с радостью... - сказал Корчинский, и повторил – с радостью... Но, понимаешь... Не сегодня. Нет.
- Ты что, голубой?
- С ума сошел?! Нет. Но не сегодня.
- Ты твердо решил?
- Да, - отрезал человек в форме.
- Другого шанса не будет, Корчинский, - сказал я, - но я рад, если честно.
- Я понимаю. Но сегодня не могу.

Я положил на стол сигареты, надел фуражку и снова пошел в туалет. Это становилось смешно. Анна-Мария сидела на на унитаза, как сумасшедшая и прекрасная гимнастка на безумном козле. Белоснежном безумном козле. Я люблю тебя, Анна-Мария, подумал я, и сказал:

- Он говорит, нет.
- Он что, голубой?
- С ума сошла? Он говорит, нет, не сегодня. А вообще ты ему очень нравишься.
- Какая разница, - она вытерла руку о плащ, - он что, не понимает, что другого шанса не будет?
- Он понимает. Но сегодня не может.

Анна-Мария медленно села и стала застегиваться. Завязала пояс, одернула полы, застегнула воротник. Пошатываясь, встала и вытерла между ногами бумагой.

- Я бы ему не дала, - сказала она, - я бы у него отсосала просто.

Я молчал.

- Я сначала думала, что дам ему себя трахнуть, - сказала она, - а потом, когда тебя не было, и ждала его, то поняла, нет. В рот возьму, а трахаться не стану.

Я молчал.

- Ты постоянно что-то несешь, Лоринков, у тебя рот не закрывается просто, а вот когда нужно говорить, становишься будто немой. О, Господи!

Я молчал.

- Твой член идеален для меня, - сказала она. – Я больше ни с кем трахаться не хочу. Засовывать в себя ничего, кроме твоего, не хочу. Я не знаю что это, но, возможно, это любовь. Понимаешь?

Я сказал:

- Гм.

27

Очень быстро мы нашли ритм своей жизни. Просыпались поздно и подолгу валялись: она в кровати, я – на полу. Готовил я, но иногда к плите могла встать Анна-Мария и тогда у нас на столе появлялись шедевры. Она отлично готовила, но на фигуре ее это не сказывалось: она по-прежнему выглядела практикующей гимнасткой. Хотя спорт вот уже 10 лет как оставила. Как-то Анна-Мария заползла на меня утром и уселась на шпагат. И стала сжиматься. Не шевельнулась ни разу, но минут через десять мы оба кончили. А потом Анна-Мария, так же молча, как и спустилась, поползла на диван, доспать.

Многие ли мужчины могут мечтать о том, чтобы на них, как на гимнастическом снаряде, вытворяла чудеса красивая молодая женщина? Как все-таки много значит секс. На самом деле только он сделал меня счастливым. Я глядел на Анну-Марию, уже заснувшую, - отключалась она моментально, как и просыпалась.

Мы очень много гуляли по городу. Часто, видно, так ей нравилось, Анна-Мария тащила меня куда-нибудь, находила в уголке города гостиницу, - то уютную, а то обшарпанную, - и мы ночевали там. Когда Анна-Мария уезжала, я не то чтобы места себе не находил, но гулял еще больше, чем когда она оставалась рядом со мной. Прогуливался и наслаждался городом. Анна-Мария, отдам ей должное, постепенно приучила меня любить Кишинев. Открыла его красоту: она таится в Кишиневе, как разнузданность - в нимфоманке, спрятавшейся за очками, серым костюмом и волосами, собранными в пучок. Но только тронь ее и она кончит. Так и Кишинев. С виду он серость. Но он чувственный.

Только прикоснись к нему, и этот город затрясется.

Хоть мы и были вместе уже почти полгода, но не надоели друг другу. Я по-прежнему проводил с Анной-Марией много времени и отлучался лишь для того, чтобы сходить в книжный магазин. Иногда я все еще читал. Писать перестал вообще. Как-то раз попробовал сесть за стол, достал блокнот и просидел так несколько часов. А потом понял, что мне это не нужно и неинтересно.

- Что это ты делаешь? – я не услышал, как Анна-Мария пришла, поэтому вздрогнул от ее прикосновения к шее. – Завещание?
- Не глупи, я просто думал, что смогу написать пару строк. Ошибался.
- Боже, - начала снимать она свитер, став коленями на диван, - я думала, это у тебя прошло.
- Почему тебе так не нравится, что я пишу?
- Зачем тебе писать, - резонно заметила она, уже скатывая чулки, - если у тебя есть я.
- Эгоистка долбанная!

Анна-Мария разделась и объяснила: она вовсе не ревнует меня к этому глупому времяпровождению. Просто, сказала она, какой смысл писать, когда у тебя есть женщина? Делать это нужно после.

- А то, получается, - пошла она в ванную, - что ты ни мной не занят, ни книгой. И, в конце концов, проиграешь во всем.
- Анна-Мария, - крикнул я ей вслед, - что ты, малолетняя засранка на содержании папы, знаешь о проигрышах и выигрышах? Для тебя игра это автомат в кинотеатре, где ты жестянками звенишь.
- А для тебя? – спросила она, вернувшись.

Подумав немного, я ничего не ответил. Нечего было. Анна-Мария подошла к столу, взяла блокнот, и сказала:

- Купаться, мужчина, купаться. А потом – похороны!

28

Возле высокого, из железных прутьев, каркаса склепа XIX века, росло дерево. Оно было увито плющом, и я подошел поближе, чтобы рассмотреть, как именно тонкая вязь зелени душит огромный широкий ствол. Чуть раньше, когда мы с Анной-Марией заходили на кладбище, я увидел, как драная кошка метнулась к одной из

могил и что-то схватила. Сожрала, а потом блеванула. Мы подошли поближе, и я увидел, что это была ящерица. Анна-Мария присела, поковыряла немного жеваное тельце и о чем-то тихо поговорила с ним. Мне было даже не грустно, а просто противно. Даже тут, на кладбище, все непрерывно убивают. Все и всех. Чтобы не оставаться в стороне от процесса, я подобрал камень и швырнул его в кота. Попал прямо в голову. Животное мяукнуло и зигзагами ушло к церкви, оставляя кровавый след.

Анна-Мария только покачала головой да улыбнулась.

- Это была всего лишь ящерица, - мягко сказала она.
- Да плевать мне на ящерицу, - пожал я плечами, - у меня были другие мотивы, а каковы они, пусть для тебя останется тайной.

Анна-Мария весело улыбнулась и мы оба поняли, что никакой тайны я для нее не представляю. От этого мне стало чуть легче, и я, взяв Анну-Марию под руку, стал прогуливаться по булыжнику, которым вымощены дорожки Армянского кладбища.

- Кого мы ждем? – спросил я.
- Скоро увидишь, - ответила она, - а сейчас давай пройдемся к началу.

У самого входа на кладбище был старинный участок, где лежали несколько десятков идиотов, погибших в Молдавии в 1915 году во время беспримерной по своему героизму кавалерийской атаки на окопы врага. Разумеется, ни одной молдавской фамилии тут не было.

- За румынского императора Михая гибли одни Сидоровы да Петровы, - ехидно сказал я, - как ты считаешь, это показатель героизма твоего народа, Анна-Мария?

Она мягко сняла свою руку с моей и подошла к могиле ротмистра. На камне сидели ангел и птица. Я решил, было, что это голубь, но ошибся. Это был павлин. Потом я вспомнил, что павлин был символом раннего христианства, и перестал удивляться. Анна-Мария положила руку на плиту и встала на колени. Долго думала, прислонив к камню лоб, отчего на нем даже красное пятно появилось. Выглядела она странно. В синем вельветовом пиджаке, который выглядел, как часть ее тела, облегающих джинсах, но - с ярко-красным шейным платком. Тот не сочетался совершенно ни с чем. Он выглядел, будто разрез ножом на шее Анны-Мариин. Красивая молодая девушка с разрезанным горлом о чем-то думает на могиле дурака-ротмистра. Или храбреца-ротмистра? Ну, одно другому не мешает.

- Анна-Мария, - я стал замерзать, хоть солнце и светило, но октябрь заканчивался, и по утрам в Кишиневе было уже холодно, - что ты делаешь на могиле этого проклятого русского?

- Ну, не совсем русского, - неожиданно для меня отозвалась она, - мать у него была немкой. Хотя отец да, русский.
- Это какая-нибудь история вашей семьи? С этим героем переспала твоя прабабушка и зачала с ним твоего дедушку? Такое только в сказках бывает.

Анна-Мария рассмеялась и встала. Оглянулась на меня, отряхнула брючки.

- Как-то я спала с очень серьезным молодым человеком, - сказала она, все еще держа руку на камне, - пока не бросила его. Ну, он мне надоел.
- Если ты хочешь сказать, - вздернул нос я, - что я тебе на...
- Я всего лишь, - спокойно перебила она меня, - хочу рассказать тебе одну историю, которую ты не даешь мне рассказать. А ты, мнительный мужчина, ищешь подвох и тут. В общем, я его бросила, а он начал страдать, переживать, чуть из окна не выбросился.
- И? – я начал скучать. – Таких историй множество. История ли это вообще.
- Придумывать всегда интереснее, чем наблюдать, - улыбнулась Анна-Мария, - по крайней мере, для эгоистов, правда?
- Анна-Мария!
- Да, меня зовут именно так. И ко мне пришла мать этого бедолаги. Рассказала, как он мучается и попросила вернуться к нему. Унизительно, правда? Ну, а я спросила, с чего вдруг мне это делать? А она сказала, что, когда она была беременна им, то отец ребенка их бросил. И на ней женился по доброте душевной ее давний поклонник. Который так хотел ее, что ему плевать было на то, что она брюхата от другого.
- Какое отношение все это имело к тебе, Анна-Мария? – спросил я, закуривая.
- Никакого, наверное, - пожала плечами теперь уже она, - но я к нему вернулась.
- 

Я не поверил своим ушам. Потом понял, что, конечно, это все поза. Всему ты прекрасно поверил, сказал я себе, и потом ей:

- От тебя я такого не ожидал. Ты не их тех женщин.
- Безусловно, - кивнула Анна-Мария, - но вот так получилось, мой драгоценный мужчина.
- И долго ты с ним еще жила?
- Года два.
- Он что, умер? – осенило меня.
- Ах, - рассмеялась Анна-Мария, - ну, что за мужчина у меня. Выдумщик и фантазер! Все драматизирует! Одно слово, писатель!
- Где же он похоронен? – взгрустнул я.

- Не говори глупостей! – резко оборвала она меня и стала рукавом счищать пыль с надгробия ротмистра. – Он прекрасно себя чувствует, растит двух милых детей и безумно влюблен в жену.
- Э-э-э?
- На второй год, когда я почувствовала, что не могу, то подсунула ему подругу, застала их, поскандалила, разрыдалась, и он ушел к ней совершенно удовлетворенный. Меня это, признаться, не удивило. Больше всего любят мучить именно жертвы. Наверное, он чувствовал себя настоящим крутым мужиком. Ну, что же. Хоть раз почувствовал. А этот ротмистр...
- Да? – я заинтересовался.
- Я с детства приходила сюда с родителями, у нас же тут все родственники похоронены. Еще бы! Лучшее кладбище Кишинева. И каждый раз мы проходили мимо этих могил. И я, девочка ножки-спички, все мечтала о том, что у меня будет такой вот ротмистр, красивый, усатый, военный. В орденах, герой и джентльмен. Будет целовать мне руки, и все такое. Я выдумала себе героя, знаешь, как дети выдумывают друга. Все думают, что его нет, а ребенок точно знает, что есть. Ну, как Малыш и Карлсон.

Дети видят ангелов, подумал я, и ты их видишь, Анна-Мария. Наверное. Иначе куда ты все время смотришь своими зелеными, как мох на подводном камне, глазами?

- И я, - присела Анна-Мария на корточки, - выдумала себе ротмистра, который есть, который рыцарь и который в меня влюбился. Забавно, правда? Ведь в жизни он, наверное, был, как и все военные, груб, любил выпить и вообще хам. У тебя есть трава? Давай покурим. А потом я выросла, забыла все это к чертовой матери и встретила, наконец, ротмистра, который таковым не оказался. Но в тоже время он, то есть ты, я же о тебе говорю, в некотором роде этот ротмистр.

Анна-Мария очистила, наконец, табличку, и я наконец-то разглядел фамилию на камне и рассмеялся. Твою мать.

«... с миромъ. Ротмистръ Лоринковъ»

29

Это был подарок.

Так Анна-Мария поздравила меня с днем рождения. Поход к могиле недалекого предка, - а я-то думал, что героев-засранцев и скотов благородных кровей у меня в

семье не было, да и вообще ни ее, семью, ни историю ее не любил, - и справка из Национального архива, удостоверяющая наше с ротмистром родство. Я вертел ее в руках, недоуменно, но весело, - потому что мы уже выкурили по сигарете, - и смотрел, как пожилой толстый священник размахивает какой-то лампой на золотой цепи. От лампы шел приятный дым.

- Он продаст мне немного этого масла, - шепнул я Анне-Марии, дернув ее за рукав, - как ты думаешь?

Но она стояла серьезно, как отличница на линейке, и не обратила на меня внимания. По крайней мере, виду не показала. Просто сжала мою руку крепче. Священник напевал:

- Святых мучеников исправлением, небесныя силы преудивишася. Яко в теле смертнем, безтелеснаго врага силою Креста, подвизавшеся добре, победиша невидимо. И молятся Господу, помиловатися душам нашим. Аминь!
- Аминь – хором ответили мы.

В церкви звонил колокол, но священник не обратил на это, - как Анна-Мария на меня, - никакого внимания. Я порадовался, что сегодня рабочий день. Иначе на нас глазело бы много народу, а выглядели мы более чем странно. Девушка в синем камзоле и с нелепым красным рваным пятном на шее, угрюмый мужчина в клетчатой, как шотландская юбка, - да это и была когда-то шотландская юбка, - куртке, и священник, из-под рясы которого выглядывали коричневые, с острым носком, туфли.

- Меня так и тянет поднять ему рясу, чтобы подсмотреть, вот что он одет, - тихо сказал я Анне-Марии.

Она снова промолчала. Священник умолк, покачал еще немного лампой и нараспев сказал:

- Джинсы пиленые, свитер с горлом, туфли коричневые с острым носком.
- Спасибо, - сказал я, - туфли я вижу.

30

- Подойдите к яме, - вздохнул священник. - Прощайтесь с покойным.

Мы, держась за руку, подошли. Анна-Мария чуть присела и бросила землю на блокнот. Я тоже отсыпал горсть. Потом мы с отцом Николаем засыпали яму, - полметра на метр, - и притоптали землю.

- Надеюсь, ты понимаешь, - хмуро сказал священник Анне-Марии, - что крест здесь будет лишним.
- Хотелось бы, - вздохнула она.
- Я и так слишком много делаю для тебя, – сухо сказал отец Николай, - не понимаю, зачем. Может быть потому, что благодаря тебе, - я подчеркиваю, не твоему желанию, а тебе, - я пришел к Богу? В общем, я и так согрешил, а крест над закопанным блокнотом, это будет чересчур!

Она улыбнулась, и сказала:

- Мальчики, давайте пить вино!

31

Кот с окровавленной головой вернулся к нам, и Анна-Мария осторожно обтирала его платком.

- Испачкаешь платок, - сказал я.
- На красном кровь не видна, - возразила Анна-Мария, - дайте мне чуть водки.

И осторожно протерла коту ссадины. Удивительно, но животное из рук Анны-Марии не вырывалось и все терпело.

- Все терпят, - сказал отец Николай, - все терпят эту ужасную женщину. Без колдовства тут не обошлось.
- Вы верите в эту чушь? – спросил я.
- Я и в Бога-то еле верю, - хмуро признался он.

Анна-Мария рассмеялась и подула коту в нос. Священник сказал:

- Она хуже торговки наркотиками.

Я выпил вина и протянул ему сигарету. Дым под ярко-красными ягодами рябины - будет суровая зима - выглядел особенно седым. Ягоды и дым оттеняли друг друга, как глаза и ожерелье. Священник затянулся и сказал:

- Она дает себя на пробу, а потом лишает.

Анна-Мария погладила кота и отпустила. Тот почему-то не убежал. Священник сказал:

- Вот-вот. Никто потом не убегает.

Я пролил немного вина на джинсы, и Анна-Мария пошла за солью в магазинчик сразу за воротами кладбища. Если успеть, сказала она, то соль впитает вино и пятна не останется. Еще она хотела купить какой-нибудь еды мне и отцу Николаю. Мужчинам нужно закусывать, сказала Анна-Мария.

- Я даже не спрашиваю вас, - затянулся я, и передал сигарету с марихуаной священнику, - спали ли вы с ней.
- Это хорошо, - мрачно ответил он, - иначе я бы вынужден был ответить правду. Нет, не спал.
- Что вы здесь весь день делаете?
- Хожу. Гуляю. Иногда служу.
- Вы давно знакомы?
- Могу сказать только одно. Я не был рожден для этой женщины, а она – для меня. Когда я понял, это меня разбило на кучу осколков. Но сама Анна-Мария тут не при чем.
- Вы не расскажете мне историю вашей Анны-Марии?
- Нет.
- Хорошо.

Я кивнул. Я уважал право священника ничего не говорить или говорить без умолку. Мы выпили еще вина, и мне стало очень хорошо. Отец Николай извинился и сказал, что предпочтет дальше пить водку, потому что от вина у него изжога. Разумеется, я не имел ничего против. Мы снова налили. Отец Николай хотел что-то сказать, но волновался, поэтому махнул рукой и мы опять выпили. От гари листьев, - серо-желтые кучи их тлели под забором кладбища, - и спиртного с травкой сознание у меня было необыкновенно обостренно. Отец Николай пожаловался на боли в спине и продолжил пить стоя. Я посочувствовал ему и пообещал непременно зайти как-нибудь. Анна-Мария вернулась с котом, который что-то жевал, сидя у нее на руках, и заставила нас съесть какой-то сыр, маслины, колбасу.

Конечно, она купила нам еще выпить. На рябину прилетела какая-то птица, и я подумал - уж не павлин ли?

Но это, конечно, оказалась сойка.

32

Ночевали мы в двухэтажной гостинице за углом от кладбища.

Отец Николай, отмахнувшись от настойчивых просьб какой-то старушки в цветастом платке ехать домой, согласился пойти с нами. Три квартала мы прошли за полтора часа. Я хохотал, разбрасывая над головами священника и Анны-Марии охапки листьев, а отец Николай пытался поймать их зубами. Удивительно, но особо пьяны мы не были. Было весело.

- Номер на двоих, - сказал я в гостинице, - с ванной, пожалуйста.
- Может, двухкомнатный?- уточнил портье.
- Никак нет, - грустно сказал я, - преподобный Серафим будет исповедовать нас с супругой всю ночь.

Анна-Мария, усевшаяся в кресло в холле, фыркнула. Портье, лицемерно-верующий, как все молдаване, посмотрел на нее с презрением, но ряса Николая оказалась более действенным аргументом. Нас пропустили. Уже в номере Анна-Мария пошла в ванную, раздеваясь на ходу, а отец Николай достал из-под рясы коньяк, и мы выпили, глядя на крыши старого Кишинева.

- Она это праздник, - с трудом ворочая языком, но скорее от усталости, чем от выпивки, сказал священник. - Как опьянение. С ней забываешь обо всем.
- Разве это не чудо? – спросил я, кривя губы в самодовольной ухмылке.
- Это чудо, - спокойно согласился он. – Но тем больнее возвращаться в то, что в насмешку называется «нормальной жизнью». Она, конечно, ничего общего с нормальной жизнью не имеет. Жизнь это такие люди, как Анна-Мария. Остальные – просто нежить какая-то.
- Да, - согласился я, - без нее будет тяжело.
- Вы говорите это так спокойно, будто рассчитываете это пережить, - тоже очень спокойно сказал священник, - но, поверьте, это и вас разобьет. Дело даже не в ней, в Анне-Марии. Дело в том образе жизни, который она дает. Вы уже не сможете жить иначе, чем сейчас. Не сможете тупо ходить на службу. Говорить необязательные вещи, которые служат паролем. Делать неважные вещи. Ведь единственное, что важно в жизни – это сама жизнь. И вы это poznали.
- Что ж, - улыбнулся я, - придется себя убить!

- Убить это, конечно, ерунда, - серьезно сказал Николай, - но сбежать вы сбежите. Если уж не жизнь Анны-Марии, то и не «обычная жизнь». Уж лучше бегство. Как, например, сбежал я.

Из ванной не доносилось ни звука. Спит в ванной, сказал я. Наверное, согласился священник. Мы допили коньяк, и я зашел к Анне-Марии. Она и правда спала. Я вынул ее из воды рывком, - с нее хлынуло настоящим водопадом, - и понес, стекающую, в кровать. Положил на одеяло и включил кондиционер на обогрев.

Она не открыла глаз. Просто раскинула руки, и приподняла ноги, раскрыв себя. Я наклонился и поцеловал Анну-Марию между ног. Целомудренно и задумчиво. Как ротмистр Лоринковъ целовал когда-то знамя, перед тем как глупо погибнуть, как отец Николай целовал размалеванные доски – иконы, чтобы спастись от того, к чему нужно бежать, как журналист Лоринков целовал свою руку за то, что она пишет то, что нужно было, прежде всего, прожить. Все они были глупы. Все они мертвы, Анна-Мария.

Одна ты – жизнь.

Я свернулся у нее в ногах. Отец Николай сел на пол у дивана и прижал голову к ее ладони. С пола что-то замяукало, и мы увидели, как из сумочки Анны-Марии выполз кот, который привалился к ногам священника.

Так мы уснули.

33

Анна-Мария, думаю я сейчас, неужели ты хочешь, чтобы именно теперь я начал писать обо всем этом? Ведь тебя больше нет, и, получается, я смогу уделять книге внимание, не обделяя тебя им. Но нужно ли нам это? Я не знаю. Поэтому не раскрываю блокнотов, и не ношу с собой на пляж никаких бумаг. А если что-то иногда и нахожу - записку, счет, номер, обрывок бумаги, - то приношу на пляж и закапываю. Заметаю следы – прежде всего для себя. Я боюсь как-нибудь повернуть голову, Анна-Мария, и увидеть за собой длинный след – цепочку следов – отпечатки твоих босых ног, которые ты оставила, когда бежала со мной по пляжу.

Я боюсь повернуть голову, потому что могу увидеть тебя за плечом, Анна-Мария.

Левое или правое? За каким стоишь ты? Я долго пытался определить твое место, Анна-Мария, и поначалу, конечно же, помещал тебя слева от себя. Место дьявола. Потом справа, а сейчас думаю, что ты и слева и справа, и вообще, за моей спиной

нет никого, кроме тебя. Я лежу на шезлонге, который притащил мне услужливый мальчонка. Пятьдесят куруш. Половина новой турецкой лиры. Что-то около половины доллара в каждый приход, и у меня на пляже завелся друг. Он выносит шезлонг, едва завидев меня, и ставит в нескольких метрах от моря. Я люблю, чтобы брызги пролива попадали на мои ступни. Они большие, широкие и часто болят. Совсем не то, что воздушные ножки Анны-Марии, каждая из которых помещалась в моей ладони. Я ложусь на шезлонг, бросив одежду в рюкзак, и позволяю ветру смести с себя песок. Иногда на меня льет дождь - последние два дня, хоть в Стамбуле и прохладно, его не было, - но я не прикрываюсь зонтом. Хотя мальчик и приносил. Мне кажется, прикрывать свое тело на морском берегу – верх преступления. Я приношу его морю, а значит, я приношу его Океану, я приношу его Солнцу, пусть оно сейчас и занято своими делами за облаками, принесенными циклоном, а может, антициклоном? Я приношу себя песку, мелкому и рассыпчатому, как индийский рис в ресторане при моей гостинице, которая тоже неподалеку от пролива, я жертвую себя и свои воспоминания ветру. Он разрывает в клочья мою память и разбрасывает ее над Океаном, как прах Индры Ганди, он заключает частицы праха моей памяти в капсулы дождя. Акулы всего Океана пожрали кусочки моих плотских воспоминаний. Я давно уже плаваю где-то в Саргассовом море зыбкой кучей неведущего планктона. Я размазан ветром по окружности Земли, как тонкий слой масла на бережливо сделанном бутерброде. А пляж у Босфора – та масленка, откуда ветер зачерпывает меня, чтобы размазать по всему миру.

Я пытался приходить по ночам, но в это время здесь слишком много огней. День, только день может дать одиночество у Босфора. Я закрываю глаза и закидываю руки за голову. Где-то здесь, в этом мире, должна быть Анна-Мария. Она прячется за моей спиной. Она рядом.

- Анна-Мария, - говорю я, не открывая глаз, - сколько можно прятаться?

Она молчит. Стоит сейчас, наверное, где-нибудь, в уголке пляжа и треплет по щеке маленького турка. А тот уже весь растаял. Или присела у кромки воды, поджав под себя ноги, и задумалась. Склонила голову набок, и глаза ее стали оттенка морской воды. Ветер шелестит и перелистывает меня страница за страницей. На какой он сейчас остановится? Не знаю.

Но когда бы ни стих ветер и с какой бы страницы он ни начал меня читать, это всегда будет рассказ о тебе, Анна-Мария.

В воде, в самом начале ее, откуда она порой отступает, чтобы снова нахлынуть, стоит чайка. Я уже по звуку определяю, что это именно она. Чайка Анна-Мария. Удивительно, но она играет, хотя здешние чайки, как, впрочем, и люди, на самом деле к беззаботности и веселью не склонны. Они озабочены только одним. Где бы пожрать. Поэтому я каждый раз беру с собой на пляж какую-то еду для чайки и

деньги для мальчика. Чайка пока играет, значит еще не голодна. И я не тянусь к рюкзаку. Анна-Мария смешно подпрыгивает каждый раз, когда маленькая волна идет на пляж, и бежит вслед за ней, когда море утягивает волну обратно. Я никогда не обращал на это внимание. А сейчас вижу, что море будто забрасывает волной сеть на землю. И забирает себе немного ее. Дети и птицы, вот кто способен искренне удивляться тому, чему следует удивляться. Пожалуй, еще Анна-Мария способна была бы искренне удивиться этому и долго наблюдать за тем, как море похищает волной землю.

Я бы непременно сказал ей, что это наводит на мысль о происхождении мифа о Европе, похищенной быком. Провел сравнения с Зевсом, как морем, похищающим Землю. В общем, выдал бы весь свой на самом-то деле не очень богатый запас. Анна-Мария даже не посмеялась бы. Она просто-напросто не обратила бы на меня внимания. Потрепала бы по щеке. И я бы растаял.

Если я буду думать о ней меньше, она оставит меня, наконец, интересно? Я не уверен в этом, но обязательно попробую. Не сейчас. Через два-три дня, когда уеду из Стамбула. А пока я все еще ищу тебя, ищу твоей руки и твоего взгляда, Анна-Мария. Мы не рассчитались, любовь моя. Мне нужно найти тебя, чтобы мы подсчитали все расходы и доходы, подбили все балансы, закрыли все задолженности и распродали остатки имущества банкротов, чтобы покрыть затраты кредиторов. Нам надо совершить все необходимые в таких случаях формальности, а уж после этого ты перестанешь для меня быть. По крайней мере, я на это надеюсь.

Я закрываю глаза и начинаю считать. Раз-два-три-четыре-пять, я иду искать.

Анна-Мария, выходи.

34

– Поднимись!

«Талифа кума». Вот маразм! Все неловко переминались. Когда хор закончил петь и священник отмахал своей конфоркой на цепи - своим дымящимся кадиллом, - вдова зарыдала. Отчаянно и яростно. Я улыбался, глядя чуть поодаль, и думал, как все же недостойно люди встречают неизбежное. Сам-то я, хоть у меня в душе все перевернулось, Анну-Марию провожал без слез.

– Чего ты хочешь? – спросил меня отец Николай, когда я увиделся с ним. – Зачем пришел? Разве я не предупреждал тебя?

- Для церковника, отец мой, - насмешливо, потому что зло, ответил я, - вы слишком негостеприимны. Особенно для священника, как-то переночевавшего со мной в одной кровати. Хорошо было, да? Но я не пришел к вам жаловаться. И жевать соплю по покинувшей нас, бранных, Анне-Марии, тоже не собираюсь. Я по делу, батюшка.

Он долго смотрел на меня, и я все думал, ударит или нет? Шансов у меня не было – отец Николай был здоровый крупный мужчина. Не ударил. Вздохнул, потом молча повернулся и махнул рукой. Попросил подождать в церкви, пока он отпоет усопшего. Молодого мужчину в расцвете сил. У него остались двое детей и вдова. Ясен хрен, молодая и в расцвете сил. Не дадите ли телефончик, хотел было спросить я, но подумал, что это чересчур. В конце концов, Корчинский уже умер - выбросился из окна, и устройством его похорон занимался я. А все это нервирует. В особенности сложные переговоры с бальзамировщиком, который непременно желал накрасить Сергея так, чтобы сделать его похожим на мадам Баттерфляй в исполнении нашей знаменитой землячки, певицы Марии Биешу.

- Нет, нет и нет! – в негодовании возопил я. – Он бы был против!

А потом подумал, как глупо, в сущности, все это. И что такое покойник, как не мусор? Обычный мусор. Конечно, обряд похорон совершенно правильный в том смысле, что мусор следует собирать и выбрасывать в строго установленных для этого местах. Но зачем обставлять все так трагично? Ведь закапывают не любимого вами человека. Земле предают мусор, кости, какой-то желтый - я видел в морге в разрезах - жир, окоченевшие десны, пересохшие без слюны зубы. Люди умирают, их закапывают как мусор, они и есть мусор, так зачем убиваться?

Смываем же мы свое дерьмо без рыданий и мучительных минут неловкости.

Покойники это и есть дерьмо. Они даже не могут взглянуть в последний раз в окошко света над собой, когда их забрасывают землей. Их нет. Еще, кроме проводов покойного, я бы отменил разовые похороны. Вы же не предаете почетному погребению каждый огрызок яблока или скорлупу яйца. Вы набиваете мусором мешок, а потом уже вышвыриваете его в большую урну на улице. Почему бы так не поступать с мусором, который остается от нас? Трупы можно было бы вышвыривать на помойки. И достаточно было бы раз в месяц пропускать по улицам города мусоровозку, которая бы их собирала и свозила на свалку.

Я закурил - обычный табак - и подумал, что это интересные соображения. Но высказывать их вдове и траурной процессии сейчас не стоит. Безусловно, в душе все, даже безутешная женщина, согласится со мной, но для виду им придется огорчиться. К чему? Поэтому я лишь отступил поглубже в тень склепа корнета с какой-то сложной немецкой фамилией, - судя по слезливой надписи на камне, ему

было всего восемнадцать лет, - сломавшего себе шею во время конной прогулки. Склеп был небольшой, и дым от сигареты стал собираться под куполом.

Когда закапывали Анну-Марию, я был совершенно спокоен. Совсем как герой «Колокола», который не остался на похоронах любимой женщины, - думал я. А потом вспомнил, что Анну-Марию это ужасно бы разозлило. И решил было не сравнивать, да потом вспомнил, что Анны-Марии, собственно, больше нет.

- Гроб Анны-Марии был похож на посылку, знаете? – сказал я отцу Николаю, - Ее бы порадовало.

Гроб и в самом деле был какой-то... нетрагичный, что ли.

Анна-Мария и в этом проявила недюжинную жизнерадостность, думал я. Для начала скажу, что Анна-Мария избавила меня от мучительного сравнения. Я не сравнивал окостеневшую и мертвую Анну-Марию с живой, прелестной и розовенькой Анной-Марией. Гроб был закрытый, потому что, как объяснили мне, если гражданин Молдавии погибает за пределами страны, и похоронить его в общепринятые три дня не получается, гроб лучше закрыть. К тому же, перевозка тел осуществляется только в закрытых гробах. Я не удивился – мне доводилось присутствовать на похоронах молдаван-гастарбайтеров, которых сотнями свозили в страну из России, Италии и Португалии в закрытых гробах. Какая ирония! Анна-Мария, дочь молдавского бюрократа-националиста - а именно они и ввергли страну в дерьмо нищеты и исхода рабочих-рабов, - похоронена, словно какая-то нелегалка, попавшая под каток в Италии!

Что же, зато гроб у нее был чудесный.

Этот гроб был немецкий - какого дьявола она туда полетела, думал я, она ведь летала только в Испанию да Италию - и совершенно не походил на уродливые балканские ящики, в которых молдаване хоронят своих мертвецов. Продолговатые, блестящие, - будто лакированные туфли у сельского молдаванина, приехавшего поплевать семечки в город, - они уже сами по себе внушают тревогу и грусть. Этот гроб был кремового цвета, обитый тканью, - кремовой же, только чуть более светлого оттенка, - и не плоский, а довольно высокий. Из-за этого гроб не был похож на ящик. Анна-Мария лежала в достойном месте.

Еще, что Анне-Марии бы очень понравилось, на ткани гроба было много почтовых оттисков. Ее отец был, когда Анна-Мария ушла, во Франции, и не смог выехать в Германию. Поэтому дочь привозили в Париж на опознание. Из-за этого гроб был наполовину покрыт наклейками, штампами и штемпелями всех цветов. Это делало гроб веселым и разноцветным, или, если уж совсем точно, нарядным. Анна-Мария даже гроб себе подобрала со вкусом, подумал я и улыбнулся. Ее папаша, стоявший

у гроба с опущенной головой, растолковал это по-своему, подошел ко мне и потрепал по плечу. Совсем как Анна-Мария трепала всех, кто только ей под руку попадался.

Тогда я понял, откуда у нее этот жест. И сказал:

- У вас замечательная дочь.
- Была, - глухо поправил он меня, поправив очки, - к сожалению.
- Ее мать?.. – вежливо начал я, но не закончил, и вопрос встал между нами, как отсутствующая на похоронах Анны-Марии мать.
- Умерла, - ответил он, - она вам не говорила, да? Умерла и давно.
- Спасибо, - говорю я, - что не...
- Вы встречались? – деликатно говорит он, и мне снова становится смешно. – Она говорила о вас. Много хорошего. Жаль, что...
- Она меня любила, - подумав, отвечаю я, - немножко не так, как принято, но правда любила. А я - ее. Главное, у нас все было отлично с сексом. Я обожал трахать ее. Жаль, что я не успел сделать ей ребенка.

Я бы не сказал, что папаша Анны-Марии шокирован. Он слегка пожимает плечами, вздыхает и возвращается к гробу. Потом снова подходит ко мне.

- Она тоже об этом жалела, - признается он, и я впервые удивлен.
- Кстати, возьмите ключи, - говорю я, - это от ее дома.
- Но...
- Берите. Я незнакомый вам человек, и с Анной-Марией не был расписан. Не оставляйте же меня в вашей квартире только потому, что я спал с вашей дочерью. Это смешно. Берите!
- Послушайте, - говорит он, - я прекрасно понимаю, что взрослая женщина всегда и куда больше принадлежит мужчине, который, как вы выразились, ее трахает, чем собственному отцу. Но, поверьте, как и вы, скорблю. Очень.
- Ну да, - улыбаюсь я, - не смею сомневаться. Просто, согласитесь, глупо горевать, когда дело сделано.

Я пересказываю ему некоторые свои соображения относительно покойников, а он кивает, глядя то на меня, то на Анну-Марию. Вернее, на цветастый гроб Анны-Марии. Потом кладет мне руку на плечо и уводит чуть в сторону. Молча наливает, - на столиках у соседних могил какие-то родственники Анны-Марии уже разложили еду и выпивку, - и мы чокаемся. Стаканчики пластиковые, это нелепо.

- Понимаете, - выдыхаю после коньяка я, - пора мне снова возвращаться к тому, что принято называть «нормальная жизнь». Анна-Мария меня разбаловала. Наверное, в вашем понимании это очень плохо. Иногда она тратила на меня деньги. Я не работал. Вообще ничем не занимался. Будет тяжело, но я, наверное, выдержу. Хотя это останется во мне навсегда. С ней я занимался только одним. Ей. Что же. Придется отвыкать.

Он задумчиво спрашивает меня:

- Стоит ли?

Я переспрашиваю:

- Простите?

- Стоит ли отказываться от смысла жизни, - спрашивает он, - даже если обстоятельства сложились неблагоприятные, вот что я имел в виду. Ведь даже что-то изменилось, смысл-то остается прежний.
- Вы предлагаете мне открыть храм Анны-Марии? – иронично осведомляюсь я. – Курить в нем свечи, молиться светлomu облику вашей дочери и быть хранителем при ее памяти. Да?
- Я предлагаю вам, - он удивительно мягок, я недооценил сходство с дочерью, - постараться убедить себя в одной вещи. Чтобы выжить в круговороте, не нужно рваться из него. Это только затянет вас на дно быстрее. Чтобы забыть Анну-Марию, не нужно рваться и от нее, в противном случае вы получите и храм, и свечи, и прижизненное место хранителя. Просто еще немного продолжайте двигаться в колее, лишь постепенно снижая ход. Не пробуйте выбросить память о ней сразу.

Он тепло прощается со мной и напоследок бросает:

- Не мучайте себя. Поживите еще немного у Анны-Марии.

И возвращается к гробу.

Ключи он так и не забрал.

35

Жизнь твоя прекратилась, но осталась смыслом моей.

Так ли это? Пока – да. Еще несколько дней. Потом я уйду, Анна-Мария. Покидаю Стамбул и тебя, призрак которой постепенно - как скарабей зарывает навозный шарик - закапываю сейчас на этом пляже. Анна-Мария, я сказал выходи? Нет-нет! Оставайся там, в песке, наполовину присыпанной. Скоро. Еще немного, и ты скроешься насовсем. Потом я уеду. Сейчас я сделать этого не смогу: твое лицо будет жечь мою спину, где бы я не был. Этот участок пляжа, он вечно останется со мной. Поэтому дай мне тебя похоронить.

Смысл моей жизни, Анна-Мария, думаю я, лежа на пляже Стамбула, в чем он был? Это твоя дыра. Я относился к ней трогательно, по-хозяйски и трепетно. Я не понимал тайнства того, что происходит в ней, но я видел результаты происшедшего. Она была словно земля, а я словно древний кельт, который с трепетом ждет урожая. Она была пашней, а я - пахарем и хлеборобом. Я зависел от погоды, настроения, тысячи причин, и с волнением ждал чуда первого урожая.

Я, дрожа, оглядывал свою пашню. Я трудился на ней, не покладая рук. Каждый кусочек твоей земли был мне дорог. Если нужно было, я курил благовония и, под заклинания цыганок, резал на ней черного петуха. Я сцеживал в твои борозды кровь. Плевал легкими, умирая от работы в тебе. Становился на карачки, пытаюсь угадать, где вылезет первый росток. Я был прилежный работник, я был чудесный хозяин, я был рачительный владелец. Новейшие удобрения, последние новинки сельскохозяйственного труда, праздники сбора урожая, а самое главное, отдых. Все я давал твоей земле, Анна-Мария.

И твоя земля благоденствовала подо мной.

36

Я выкуриваю, наверное, половину пачки, в ожидании отца Николая. Он переоделся – снял рясу - и выглядит вполне достойно. Наверное, эти вещи выбирала ему когда-то Анна-Мария, не без злорадства думаю я. Священник меня отчего-то раздражает. Наверное, тем, что когда-то - в отличие от меня или кого другого - он нашел в себе силы отказаться от Анны-Марии.

- Я не имею права о ней говорить, - сразу говорит он, войдя в склеп, - мои отношения с ней были нашим личным делом...
- Да хрен с ними, с вашими делами, - спокойно говорю я, сунув руку в карман клетчатого пальто, - покойники это мусор, а я не собираюсь говорить с вами о покойнице.
- Не говорите так, - лица его мне не видно, в склепе темно, - вы многое пережили, но легче вам от этого не будет. Прошу вас, не ожесточайтесь.

- Хрен с ними, с личными делами, - повторяю я, посмеиваясь, - с покойниками и с одной, персональной, покойницей Анной-Марией. Что закопано, то закопано, не так ли? Конечно, это касается в первую очередь бывших людей. Ну, тех, которые умерли. Ну, вы понимаете.
- Вы повторяетесь, - замыкается в себе священник, - что вам нужно?

Я думаю. Что мне и вправду нужно? Я прошел совершенно все маршруты, по которым мы с Анной-Марией гуляли по этому городу. Увидел всех людей, с которыми мы разговаривали. Можно сказать, только сейчас я повторяю путь траурной процессии. Но священник мне нужен не для того, чтобы мы с ним вспомнили роскошную и невинную ночь в гостинице неподалеку от Армянского кладбища. Я просто вспомнил кое-что из сказанного Анной-Марией и хочу сделать все наоборот. Но так, как ей все равно понравилось бы.

- Я тут кое-что оставил, - говорю я, - и хотел бы забрать.

Я выхожу из склепа - скоро начнет темнеть - и тычу пальцем в сторону могил идиотов и героев, ротмистров и поручиков. Отец Николай не понимает, а потом его озаряет.

- Блокнот? – спрашивает он.

Я отрицательно качаю головой. Нет, конечно, нет. Блокнот. Всего лишь бумажка!  
Я говорю:

- Анна-Мария.

37

Анна-Мария становится в проходе ванной, и я спрашиваю:

- А?
- Трава кончилась, - говорит она, - если тебе нужно будет еще, сходи.

Я знаю, что она заботится обо мне. Сама Анна-Мария курит гораздо реже, чем я. Прекрасная женщина, моя похотливая девочка, которая так заботится о своем мужчине. Обо мне, несправедливо одаренном самой лучшей мохнаткой в мире... Анна-Мария, любовь моя. Я мылю голову и созваниваюсь с Корчинским.

- Твоя девушка снова надумала мне дать? – спрашивает он. – Я уже жалею, что отказался.
- Вряд ли она еще раз захочет, - с сожалением говорю я, - я же предупреждал тебя. Есть для меня работа?
- Само собой! Приходи, если хочешь, через полчаса. Я тебе навалю заданий на полгода вперед.

Все-таки избежать этого не удалось: время от времени я еще изображаю из себя журналиста. Приходится врать, будто я пишу документальную книгу о полиции и, якобы, поэтому прихожу к Корчинскому. Изредка он прогоняет мне всю эту чушь про героев, задержавших пятерых хулиганов, мотоциклиста с бомбой и валютную проститутку у «Космоса», и тогда я знаю - сегодня травы не будет. Значит, отдел внутренних расследований собирается взять в комиссариате кого-то за задницу, и здание прослушивают. Но утечки есть всегда, поэтому здание знает, что его прослушивают. К счастью, на этот раз все чисто, и Сергей щедро отсыпает мне большую порцию.

- Ты не мог бы сделать кое-что для меня? – спрашивает он, и я думаю, ну вот, начинается.
- У меня ребенок в детском саду, - объясняет Корчинский, - его нужно забрать, а я никак не успею. Ты можешь забрать его? Зовут Корнел.

Мне, как когда-то в предвкушении выпивки, становится тепло. Как я мог подумать, что Корчинский попытается меня использовать? Если бы хотел, давно бы попробовал. Конечно, я соглашаюсь. Уходя, киваю на портрет нового министра на стене.

- Этот будет лучше старого?
- Неважно, кто будет министром, - нарочито громко говорит Корчинский, - лишь бы мы по-прежнему боролись с преступностью и наркотиками!

Мы беззвучно смеемся, и я думаю, что, значит, скрытой камеры здесь еще не поставили. Корчинский сует мне на прощание пару каких-то полицейских журналов, и встречаемся мы с ним уже вечером. Сергей встречается со мной и Корнелом. Сын Корчинского оказался забавным малышом четырех лет, правда, заносчивым - сказывается, что мама у него телефонный магнат. Сергей в благодарность поит нас кока-колой в «Макдональдсе» и мы долго и с удовольствием треплемся обо всем на свете, пока малыш гоняет по полированному полу закусочной.

- Знаешь, - я решаю быть откровенным, потому что этому учила меня вся жизнь с Анной-Марией, - я чуть было не решил, что ты собираешься просить меня о совсем другом одолжении...

Он долго и непонимающе смотрит на меня, а потом смеется.

- Ты десять лет околачивался у полиции, Лоринков, - говорит он, - а главного так и не понял. Такие вещи делаются совсем по-другому.
- Как? - спрашиваю было я, но сразу же добавляю. – Впрочем, не нужно. Мне все это неинтересно.
- Такие вещи, - смотрит на меня Корчинский оценивающе, - делаются примерно вот так. Я говорю тебе: не хочешь заработать? Ты говоришь, ну, было бы недурно.
- Мне и в самом деле недурно было бы заработать, - признаюсь я, - на всякий случай. Анне-Марии, конечно, плевать, что я не зарабатываю денег, но все равно. Мне это нужно хотя бы ради того, чтобы знать, что я могу заработать.
- Ну вот, - кивает Сергей и дает подбежавшему Корнелу мороженое с ложечки, - так они это и делают. Находят человека, который нуждается в чем-то, и дают ему это. Взамен за услугу. А то, о чем подумал ты, обычный шантаж. На такого как ты он не подействует.
- Почему? Я не герой, наоборот, трус.
- Да, - спокойно соглашается Корчинский, - ты хороший человек, и я тебе очень люблю, но ты трус. Должен же у тебя быть хоть один недостаток! Вот именно потому, что ты трус, тебя и нельзя шантажировать. От страха ты сбежишь, забьешься в какую-нибудь нору, и найти тебя будет невозможно. А цель ведь не в этом.
- В чем твоя цель, Корчинский? – улыбаюсь я.
- Заработать денег, - устало говорит он, - в которых я нуждаюсь не меньше, чем ты. Именно поэтому тебе нет смысла меня бояться.
- Зачем тебе деньги, Корчинский? – спрашиваю я. – Разве ты плохо живешь?
- В целом нет, - признается он, - продовольственный паек, льготы, одежда, все, как в армии, нам выдают. Зарплата небольшая, примерно как у тебя в газете, так что хватает ее только на выпивку, которой можно снять стресс, полученный на этой же работе. Я похож на негра, который сам себе отсасывает!
- Бинго! – смеюсь я, вспоминая причины своего увольнения.
- Но с премиями и добавками на среднюю жизнь хватает, - продолжает Корчинский, - так что с голода я не умираю. Особенно с учетом ваших премиальных. Ты понимаешь, о чем я. Но если я уволюсь, то через полгода-год буду голодать. Или мне придется пойти торговать на рынке. Наконец, на стройку какую-нибудь поехать. Это не по мне. Скажи, вот тебе зачем деньги?
- Спрячу их, - не колеблясь, отвечаю я, - а когда у Анны-Марии деньги кончатся, или папаша не захочет ее содержать, то будем жить на них.

- Разумно, - соглашается Сергей. – А мне деньги нужны, чтобы забрать сына и уехать с ним куда-нибудь. Неважно, куда. Подальше от Молдавии. От этой дыры с ее ужасно низким уровнем жизни и подальше от этой дыры в дыре, моей экс-супруги.
- Ты выкрадешь ребенка? – удивляюсь я.
- Нет, конечно, - смеется Корчинский, - ну ты и фантазер.
- Анна-Мария тоже так говорит.
- Анна-Мария умная девушка, - кивает Сергей, - я, конечно, не собираюсь красть своего, заметь, своего, сына. Она согласна отпустить его со мной, если я заплачу ей десять тысяч отступных. Сумма, конечно, ерундовая. Я могу заплатить хоть завтра. Но чтобы жить с ребенком за границей, причем просто жить, и уделять время только ему, да, примерно как вы с Анной-Марией, нужны большие деньги. Нужны они и тебе, так ведь?
- Что ты хочешь, чтобы я сделал? – спрашиваю я.
- Понимаешь, - задумчиво тянет Корчинский, - я не то, чтобы под колпаком, иначе мы бы с тобой так откровенно не разговаривали. Но. Если меня увидят с людьми, которые хотят кое-что купить, это может стать доказательством в суде.
- А я, стало быть, доказательством в суде не стану?
- Доказательством моей вины, - честно признается Корчинский, - нет. Это будет только предположение с их стороны. У тебя неприятностей не должно быть. Максимум, раза два вызовут как свидетеля. И все. Шито-крыто.
- Это опасно для меня? – спрашиваю я. – Хотя нет, постой. Скажи лучше, это может быть чем-то опасно для Анны-Марии?
- Нет, конечно, - Корчинский не врет, это видно, - она здесь вообще не при чем. Да и ты, строго говоря. Тебя покупатели увидят один раз. Когда ты им кое-что передашь.
- Обычно в фильмах, - хмуро говорю я, - именно в этот момент начинается перестрелка. Мне не улыбается стать жертвой гангстеров, которые отрежут мне башку и заберут чемодан с кокаином даром.
- Лоринков, - вздыхает Корчинский, - мы далеко ушли от фильмов. Товар будет оплачен за неделю до того, как вы встретитесь. Ты даже не курьер. Так, подносчик. Вот как та телка с красной фуражкой на тупой башке, которая не греет гамбургеры, а просто несет их от микроволновки до прилавка. Понимаешь?
- Кто покупает? Это молдаване?
- Ты говорил, - улыбается пресс-атташе полиции города, - что утратил интерес к журналистике. Ладно, ладно. Нет, конечно. В Молдавии не осталось серьезных группировок, которые могли бы провернуть такое дело. Ты же знаешь, у нас всех бандитов перестреляла полиция. Мы здесь главные бандиты.
- Иностранцы?

- Ну да. Да и товар не от молдаван. Молдавия это просто место, где состоится сделка. Но она не настолько крупная, чтобы ей заинтересовался Интерпол. Так что ты можешь быть спокоен. Сечешь?
- Секу. Так что мне нужно делать?

Корчинский допивает колу и швыряет стакан прямо в урну. Кладет на стол мобильный телефон, и рюкзак, и говорит:

- Оставишь все, кроме содержимого рюкзака, себе. Это подарок. С вчерашним днем рождения.

Я говорю:

- Спасибо.

Он говорит:

- Не за что.

Я говорю:

- Ты просто хочешь дать мне заработать. Я тебе не нужен. Я не ребенок, я это понял. Я лишнее звено в этом деле. Никакой надобности в моих услугах нет. Если что, на меня и свалить-то ничего не получится. Ты просто даешь мне заработать. Ты не поймел мою женщину и ты даешь мне заработать. Я это запомню, Корчинский, на всю жизнь запомню.

Он говорит:

- Ну и что? Давай расплачься тут еще.

Я говорю:

- Почему ты ее не трахнул?

Он говорит:

- Ты мне нравишься.

Я говорю:

- Спасибо.

Он говорит:

- Оставь, к черту, ты, ради Бога.

Я говорю:

- Так к черту или ради Бога?

Корчинский, расплачиваясь, говорит:

- Просто дождись звонка.

- Спускайся в парк и жди меня там, - Анна-Мария хихикает, - с охапкой листьев.

Я досадливо морщусь, но выхожу из дому. Хотя мне куда больше хотелось бы сейчас полежать в ванной, а потом с Анной-Марией в постели. Она приехала рано утром - ее не было два дня, потому что Анна-Мария летала к отцу во Францию, - и мы трахнулись всего один раз. Разумеется, это мало. И, я точно знаю, этого мало и ей.

- Анна-Мария, - недовольно ворчу я в прихожей, - что за спешка?

Она уже не обращает на меня внимание. Сушит волосы, сидя под окном и балуясь с феном. Я вздыхаю и выхожу, положив в карман пачку сигарет, каждая вторая из которых набита марихуаной. Я курю все чаще, но на моем физическом состоянии это никак не сказывается. Вернее, не сказывается отрицательно. Трава служит для меня лучшим антидепрессантом, поэтому я давно собираюсь поставить галочку в пункте «да», если в Молдавии будет проводить референдум по ее разрешению. Правда, его здесь не проведут. Хотя следовало бы. Как следовало бы запретить продажу отвратительного местного вина, которое страшнее любого наркотика. Пожалуй, в этом Анна-Мария, несмотря на ее национализм, со мной полностью согласна. Пьяниц она презирает, а местное вино – это напиток пьяниц.

- Анна-Мария, - последний раз пробую воззвать я, но все, увы, бесполезно.

Я выхожу в подъезд и присаживаюсь на диван. Да-да. В этом доме в подъездах стоят диваны, на стенах развешаны зеркала, а на ступеньках постелены ковры. Все немного уже потрепанное: все-таки без инспекции из Москвы даже прибалтненные молдаване даже у себя дома не могут подмести мусор, - брезгливо думаю я, - но в целом очень даже впечатляет. По сравнению с любым другим подъездом Кишинева здесь просто рай. Я выкуриваю сигарету с марихуаной прямо в холле и бросаю окурочок в цветочный горшок. Глубоко выдыхаю и спускаюсь пешком. Перехожу дорогу и сразу попадаю в центральный парк. Ждать мне было велено у памятника Пушкину, - копии московского, - туда я и направляюсь. Не спеша, потому что настроение у меня превосходное, ноздри прочищены самым горьким воздухом, а глаза лучистые. Лучистые, как две загадочные черные звезды, упавшие на город этим утром. Я роза, с вкраплениями золота, говорю я почему-то себе и потягиваюсь. С удивлением понимаю, что мне хочется что-то написать. Ну, что же. Мы обсуждали это с Анной-Марией.

- Если ты и правда не потерял желания это делать, - сказала она, - займись лучше стихами.
- Стихи нынче никому не нужны, Анна-Мария, - я курил, лежа на ее коленях, на мне был синий махровый халат ее отца, и я знал, что мне идет. – Никто их не издает, никто не читает. Кому на хрен нужны стихи?

- Разве ты будешь писать для того, чтобы их издали? – удивляется Анна-Мария.
- Не буду врать, - признаюсь я, - конечно, признание тоже важно.
- Что-нибудь мы придумаем, - задумчиво говорит она, - раз тебе так нейдет, мой мужчина. Но все же пиши стихи.
- Почему еще? – удивляюсь я ее настойчивости.
- Мне не нужен мужчина, - просто говорит она, - который будет по полдня сидеть у стола, согнувшись, и калечить глаза и пальцы. Скучный буквопроизводитель. Хочешь писать, стань поэтом. Ярким, бурлящим! Раз-раз, и все! Не можешь вообще ничего не делать, хрен с тобой. Пиши, что ли, стихи.
- Анна-Мария, - смеюсь я, - более удивительного объяснения преимущества поэзии перед прозой я не слышал!
- Теперь услышал, - пожимает она плечами.
- Что же, - соглашаюсь я, - Придется, наверное, заняться стихами.

Что же, думаю я, сгребая руками листья, придется заняться стихами прямо сегодня вечером. Кажется, пора. И с удивлением вспоминаю, что вот уже год, как мы с Анной-Марией живем вместе одну жизнь. Строго говоря, думаю я, усевшись на скамейку, и закурив, мне тоже исполняется год. Ведь я не жил до встречи с Анной-Марией, конечно, не жил. Жизнью то существование у меня язык не повернется назвать. Стало быть, мне сегодня год. Нам с Анной-Марией год.

С днем Рождения.

Я тщательно выкладываю желтыми и красными - чередуя - листьями на дорожке парка фразу «С днем рождения, Анна-Мария», очень старательно, отгоняя от листьев голубей и посмеиваясь. На меня равнодушно глядят школьники, прогуливающие здесь уроки. Компанию им составляют классики, в которых в Молдавии записывали любого, кто мог пять предложений без ошибки написать, но все равно, много не наскребли – двадцать бюстов глядят на меня запавшими бронзовыми глазницами. Я довольно улыбаюсь. Всего одна фраза, зато как выполнена. Закончив, я становлюсь возле нее и отгоняю от надписи детей, голубей и собак. Анна-Мария задерживается. Ничего, я потерплю. Вчера ждать ее заставил я. Я гляжу на окна ее дома и сглатываю. Просто удивительно, что она сделала со мной за год, эта сучка. Я был серостью. Посредственностью во всем, но, прежде всего в сексе. Анна-Мария разрушила меня полностью. А потом создала. Она превратила меня в мужчину-монстра. Самоуверенного, наглого самца. Повелителя мира. Я перестал стесняться. Рефлексирую. Забыл о депрессиях.

В первую очередь, думаю я, раскладывая листья так, чтобы их было видно и из парка, и из окна ее дома, она освободила мое тело. А уж это – первопричина и основа основ - позволило освободить мою душу. Необязательный секс не в обмен на что-то, а просто из-за приязни друг к другу. Секс из желания иметь секс. Отсутствие малейшей лжи в постели. Мы не врем телами, поэтому честны друг с

другом во всем. Я вспоминаю вчерашний день и действительно понимаю, насколько же изменился.

- Достаточно широко, - спрашивает меня Анна-Мария, - все видно?

Я киваю и одобрительно - совсем как она всех - треплю ее по заднице. Анна-Мария стоит у окна, навалившись грудью на подоконник, и смотрит назад. На меня. Она абсолютно голая, если не считать сандалий с шнурками до колена. Глядя на них, я вспоминаю древнегреческого педераста Гермеса. Сандалии, конечно же, золотистые, и ноги Анны-Марии с ними словно сливаются. Это не выглядит обувью. Границы между ними нет, она стерта, если была когда-то, и Анна-Мария подрагивает своей загорелой - с белым следом от плавок, правда, очень узких - задницей над этим великолепием. Я чувствую, как у меня встал.

<.....  
.....  
.....  
.....  
>

Можно не торопиться. Мне хочется, но не так сильно, как еще час назад, когда Анна-Мария вернулась после очередной поездки, - меня, честно говоря, начинает бесить этот государственный туризм, - и сосала мне в прихожей. Вообще-то она хотела хотя бы раздеться, но я не пустил ее дальше полки с обувью.

<.....  
.....  
.....  
.....  
>

Потом она приходила в себя в ванной. Я, сидя в кресле, тянул чуть-чуть коньяка, который вообще-то не очень люблю, но пью, если нужно отодвинуть момент эякуляции. И пролистывал «Сатирикон». Больше всего меня возбуждала там копия фрески, на которой чернокожий пастух стоял, облапив белоснежную пышную римлянку с огромным, почти карикатурным, задом. Черная ладонь на белой плоти.

Анна-Мария вышла из ванной. Потом надела сандалии, встала к окну и наклонилась. Я посмотрел ей в глаза.

- Сейчас она после ванной совсем-совсем сухая, - сказала Анна-Мария, - но я буду стоять так все время, пока ты будешь купаться. И ждать. Поэтому, когда

ты выйдешь, она будет совсем-совсем мокрая. Я буду ждать столько, сколько нужно. Понимаешь?

Я ее уже не слушал, потому что с книгой пошел в ванную. Набрал воды и лег. Добавил чуть пены. Намазал лицо какой-то маской с глиной, то ли розовой, то ли белой – всяких масок, кремов, баночек и тюбиков в ванной Анны-Марии было больше, чем колбочек в мастерской алхимика. Раскрыл книгу. Читать не хотелось. Картинки смотреть хотелось. Свет был тусклым, поэтому листы с копиями фресок, ваз и мозаик выглядели сами по себе памятниками. Интересно, дробит ли сейчас Анна-Мария? Вряд ли. Она способна намокнуть и так.

Я поглядел на картинку. Светильник в виде огромного Пана с торчащим фаллосом, рвущимся к Олимпу, фаллосом, на который вешали фонарь с горящим маслом. Если бы не фонарь, член бы убил, прежде всего, самого Пана. Согнутые, в рамках пространства округлой амфоры, черные бородатые греки, устроившие скоромный хоровод прямо на стенах сосуда для масла. Черный пастух и белая крестьянка. Пышная задастая телка, выбравшаяся в поле повертеться на могучем, словно посох Геракла, члене. От волнения и похоти она, дрожа, прислонилась к овечке, щиплющей траву тут же, на пастбище. Снова Пан, но на этот раз более... северный, что ли, Пан-варвар в шапке и штанах, из которых вывалилось огромное естество, устремленное прямо в козу, которую Пан завалил на спину и вот-вот возьмет. Полная римлянка, присевшая на бедра мужчины с усталым лицом. Римлянка, отключившая толстый зад навстречу смеющемуся мужчине. Римлянин, задравший одну ногу супруге и сунувший в нее прибор не меньше того, которым Пан освещает дорогу гостям староримской виллы. Полуразрушенные стены лупанариев. Прошло две тысячи лет, но эти засохшие кирпичи еще хранят запах спермы, пролитой между ног здешних обитательниц. Надписи, оставленные римскими солдатами на стенах лупанариев. Что они писали?

- Анна-Мария глотает глубже всех в этом городе, Анна-Мария подмахивает так быстро, как зябь по воде, - шепчу я, представляя угольные надписи – Анна-Мария Распахнуторотая, Анна-Мария...

Обнаженная худошавая женщина, - Анна-Мария, я знаю, что это ты, - стоит, задрав руки, посреди огромного зала. Вокруг нее много женщины, они набрасывают на ту, что в центре, мантию, совсем прозрачную, но длинную. Тайный женский культ. Сейчас они помолются, а потом с криками и пением, пьяные, жаждущие, ворвутся в деревню и разорвут какого-нибудь потерявшего от страха яйца мужлана. А чиновнику, который приедет разбираться, дадут денег, и он уедет. Стройная женщина подняла руки так высоко, что ее грудь стала формы идеального шара. Сиськи-божество. Сиськи – шар.

Бог Платона, вот что такое твоя грудь, Анна-Мария.

Нескладные пухлые девочки-подростки, неловко сосущие господина, присевшего передохнуть между заседанием Сената и вечерним пиром. Кто будет плохо ублажать господина, ту бросят в подвал с опилками, где спит за провинность, - он пролил масло, боги, - жирный сириец, спит за провинность здоровенный угрюмый эфиоп, спит за провинность жестокий, с заскорузлыми пальцами, иудей, спит за провинность дебиловатый фракиец, и все они разные, и у всех у них общего - только одно. Фаллос Пана. Дубинка, разорвущая твои внутренности, Анна-Мария, дубинка, которая помнет в тебе все так, что ты три дня ходить не сможешь, дубинка, которая скатает твою плоть в идеально ровную, в идеально твердую поверхность. Это столбы той дороги, по которой пройдешь ты. Это столбы, которые пройдут по тебе катком, Анна-Мария, нескладная девочка-подросток.

Поэтому будь усердна, Анна-Мария...

Я захлопнул книгу и взглянул на себя в зеркало. С багровым лицом, красными глазами, мокрый, я, тем не менее, чем-то на них всех смахивал. На жестокого иудея, на дебила-фракийца, на угрюмого эфиопа, на жирного противного сирийца, на спокойного римского преступника. Я улыбнулся, даже не глядя вниз, и пошел в комнату. Прошел, оказывается, всего час. Анна-Мария была и вправду мокрой. Я знал, что она не обманет...

<.....  
.....  
.....  
.....  
>

37

Звонок такой резкий, что я вздрагиваю.

Мы все еще на пляже. Я, мой рюкзак, подаренный мне Сережей Корчинским, и телефон. Телефон, правда, другой. И звонят мне не гангстеры, а вполне приличнее деловые люди. Мои наниматели. Они говорят: спасибо, мы очень довольны результатами вашей работы. Вы можете ехать в Улудаг, кататься на лыжах и отдыхать. Ждем вас на службе через три недели. Офис в Москве. Кстати, почему вы выбрали именно его? Почему не Стамбул, ведь все-таки... Или Кишинев. Это ведь, кажется, ваш родной город? Нет, я все-таки стремлюсь в Москву. Ваше право. Нам приятно с вами работать. Мне тоже, и это правда. Что ж... Еще раз приятного отдыха. До встречи в Москве.

Я отключаю телефон.

Неожиданно потеплело. Восемнадцать градусов по Цельсию и, почему-то, море беспокойное. Но тучи - и воспоминания - покидают Стамбул. Так перед отъездом господина из дворца выбегала челядь. Значит, скоро покину город и я.

Сегодня на пляже кучно. Обычно здесь был только я. Сейчас я, лежак, рюкзак, телефон и книга. А еще штук двадцать подружек Анны-Марии, прирученной чайки, которых она позвала, чтобы поглядели на странного иностранца. Это уж как водится. Прощание наедине будет завтра. А предпоследний день это всегда вечеринка. Я смеюсь и вываливаю на песок свежую рыбу. Полный рюкзак. Чайки налетают на кучу моментально, - даже не опасаются, даже не пробуют сделать круг-другой - и даже не дерутся, потому что рыбы много. Хватит на всех.

Телефон снова звонит.

Я беру трубку и за плеском волн я еле слышу знакомый голос. Анна-Мария говорит мне:

- Твой член идеален для меня. Я больше ни с кем трахаться не хочу. Засовывать в себя ничье, кроме твоего, не хочу. Я не знаю что это, но, возможно, это любовь. Понимаешь? Можешь не отвечать, придурок. Ты, Лоринков, вечно несешь какую-то чушь, когда нужно молчать, и вечно ты молчишь, когда надо сказать что-то действительно важное.

Я говорю:

- Я люблю тебя. Слышишь? Анна-Мария, я тебя люблю. Люблю. Что ты молчишь теперь, а? Я же говорю тебе, что люблю. Анна-Мария. Ну, что ты молчишь, Анна-Ма...

В телефоне тихо. Конечно, она не звонила. Анна-Мария уже никогда не позвонит. Зато прилетела. Остальные чайки еще закидывают в себя рыбу, как алкоголики водку, а моя Анна-Мария приземлилась у ног, и бочком-бочком подходит ко мне. Не веря своей удаче, я присаживаюсь - очень медленно, чтобы не спугнуть птицу - и протягиваю к ней руку. Анна-Мария подставляет бок. Я легонько почесываю его, а потом понимаю, что нужно сильнее. Крылья жесткие. Анна-Мария стоит так несколько минут, и, судя по всему, наслаждается. Я привык к ней за две недели в Стамбуле.

- Что ты будешь делать без меня, Анна-Мария? - спрашиваю я. - Без приносящего рыбу, который гладит тебя и иногда разговаривает с тобой?

Она глядит на меня пусто. Я без труда понимаю, что она могла бы сказать мне. Чайка Анна-Мария спросила бы:

– А что ты будешь делать без меня?

Боюсь, я не знаю.

Но думать об этом, как вообще о чем-нибудь, мне не хочется. Снова пошел дождь. Я в первый раз за две недели иду в воду. Океан встречает меня своими ладонями – Морем. Я ложусь в него, и мое сердце ворует песок у Земли вместе с водой. Иногда китам везет, и прилив уволакивает их обратно в Океан. Здравствуй.

Я вернулся.

38

Анна-Мария совсем обленилась.

Мы идем в «Джоли Алон». Гостиница в ста метрах от ее дома. Наискосок через парк. Она и дом Анны-Марии напоминает. Еще бы. Ведь когда-то здесь останавливались партийные бонзы, прилетевшие в Кишинев с инспекцией. И в этих холлах угодливо танцевали в национальных костюмах папаши Анн-Марий, выкрикивая здравицы в честь Москвы. Когда Москве стало не до них, папаши вспомнили о национальной идентичности и срочно переоформили документы на себя. Гостиница стала частной. Но, как обычно, без хозяев сверху в Кишиневе никто не справляется, и даже это роскошное когда-то здание потускнело. Тем не менее, в холле здесь еще остались зеркала, паркет блестит, а служба вышколена.

- Мне было, ммм, - подумав, вдруг говорит Анна-Мария, - хорошо. Больно, но хорошо. Вчера.
- Анна-Мария, - удивляюсь я. – Неужели ты никогда не трахалась в задницу?
- Нет, - признается она, - до вчерашнего дня никогда.
- Мне хорошо с тобой, - неожиданно для себя говорю я.
- Еще бы, - говорит она, - это был такой секс!
- Я не об этом. Мне хорошо с тобой прямо сейчас, - говорю я.

Анна-Мария молчит. Я смотрю на нее, она о чем-то думает, и на меня внимания не обращает. Она привыкла к тому, что я часто оглядываю ее на улице. Сегодня Анна-

Мария выглядит как маленькая датская девочка из карикатур Бидструпа. Я давно знаю, что ей говорить об этом не стоит. Анна-Мария одета в расклешенное пальто, у нее на шее огромный разноцветный шарф, - я знаю, что она связала его себе сама - и непокрытая голова. Руки в карманах. Модные ботиночки. Она пострижена как Мирей Матье. Глаза у нее сегодня необыкновенно яркие. Подбородок утопает в шарфе. Только нос торчит, как у закутанного ребенка. Я мягко целую в нос Анну-Марию, прилаживаясь к темпу ее ходьбы, а она даже не глядит на меня. Я возвращаюсь к осмотру. Из-за пуговиц – больших и броских, - пальто выглядит трогательно стильным, оно прямо указывает на источники вдохновения дизайнера, но говорит: я не оттуда. И, конечно, на Анне-Марии расклешенные брючки.

- Тебе надо было жить в семидесятых, Анна-Мария, - говорю я.
- Я жила в семидесятых, - непонимающе хмурится она.
- Тебе надо был провести молодость в семидесятых, - вздыхаю я, - вот что я имел в виду.
- Тебе не о чем поговорить? – спрашивает она, и снова глядит на листья. – Лучше сфотографируй меня.

И становится на край фонтана.

39

Фотоаппарат, в котором заключена Анна-Мария кокетливая, Анна-Мария хрупкая и маленькая, Анна-Мария на краю пустого фонтана, лежит в углу номера, на кресле. Анна-Мария лежит в этой темной коробочке, спрятанная до поры до времени, а другая Анна-Мария, с которой я час назад снял слепок, стоит рядом со мной. Мы держим друг друга за руки. На кровати перед нами страстно елозит по девушке молодой человек. Последний год я не пил, да и бурные упражнения с Анной-Марией вернули меня к былой форме, но я вынужден признать, что в сравнении с этим парнем я прекрасен красотой обычного тела. Этот же – Аполлон.

- Наверное, не один год в спортзалах, - говорю я, - живот плоский как доска...

Такие фигуры бывают только у спортсменов, поднявшихся выше ступени кандидата в мастера спорта. А значит, такие фигуры бывают уже не у людей. Я знаю. С мастера спорта ты получаешь такие нагрузки, и такие добавки, что твое тело теряет подкожный жир. Изменяется обмен веществ. Ты уже не человек, ты веселое и прекрасное греческое божество.

Веселое и прекрасное греческое божество с довольно длинными на мой вкус волосами, - а это всего лишь красивое каре, - трахает ухающую под ним девушку.

Девушка эта горничная отеля, она чуть полновата, но не полнотой миниатюрной Анны-Марии. Это полнота крупной женщины, значит, и не полнота вовсе. Она просто большая. Выше меня на полторы головы. Почти вровень с парнем.

- Не подумай чего плохого, - объясняет мне Анна-Мария, - они любовники, просто им негде. Мы знакомы, вот и я разрешила. А мы посмотрим. Ты же не против?

Разумеется, я не против. Странно, но ни я, ни, судя по всему, Анна-Мария, не испытываем сексуального возбуждения, глядя на совокупляющуюся перед нами пару. Юноша, уставший, видимо, наяривать сверху, рывком переворачивает девушку - очень красивую - и усаживает на себя...

Я гляжу на них неотрывно. Девушка статная, и грудь у нее полная. Она обвисает, но только из-за размера. Кожа везде, и на груди в том числе, у нее свежая и упругая. Девушке всего девятнадцать лет. Парню двадцать. Сейчас, из-за того, что горничная прижалась к любовнику, грудь ее сжата и распластана между ними. Они сплющили ее. Она заложник этой схватки непримиримых врагов. Парень отдохнул и начинает двигать бедрами навстречу. Девушка, кончившая уже раза два, начинает подвывать, и садится, выпрямив спину. Она берет груди в руки, и кричит:

- Аааа-ах.

Анна-Мария сжимает мою руку.

- Они согласились потому, что они извращенцы? – осторожно спросил я Анну-Марию, когда молчаливая горничная прошла в комнату с кроватью, и любовник ее еще не пришел.
- Извращение странное слово, - сказала Анна-Мария, расчесываясь, - не грязное, но странное, я бы им не бросалась все равно. Просто им захотелось, и все тут. Ты не волнуйся. Это все равно, что любоваться подземным ходом под Быком или той часовенкой. Помнишь?

Конечно, я помнил. Старинная армянская часовня в старой части города, семнадцатого века здание, с кусками фресок, сохранившихся еще с тех времен. Или узкая комнатка в мэрии – на самом верху, - в которой открыли первое радио в городе. Или церковь у холма Мазаракя, под которой зарыты голова и правая рука этого вельможи. Анна-Мария знакомилась с чужой плотью так же заинтересованно, как и со своим городом. Я снова повернул голову. Она глядела на парочку пристально. Мы оба так и не сняли верхней одежды, хоть в номере и было тепло.

Аполлон выскользнул из-под горничной и бросил ее ничком. Прижался сзади как палач к висельнику, - во Франции они прыгали на повешенных, чтобы сломать тем шею, некстати вспоминаю я, - вцепился обнявшей рукой в грудь и вдавился в мягкие ягодицы. Долбил он ее так же часто и банально, как отбойный молоток рушит асфальт. Безжалостно и просто. Постепенно ноги ее расползлись, и, чтобы ее воплей не слышно было, Анна-Мария, не отрывая от пары глаз, включила телевизор нажатием на пульт. Сделала звук громче.

- Аа-аа-а, - зашипел, наконец, Аполлон, хотя шипеть полагается лебедю, и я понял, что и он не сдюжил. - Аа-а-а...

<.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....>

В комнату зашла Анна-Мария со сковородой, на которой шипела яичница. Только тогда я понял, что в моей руке уже, наверное, минут двадцать, ничего не было. Поставила яичницу на столик, и мы еще немного посидели. Парочка оделась, Анна-Мария хлопнула горничную по заднице, о чем-то пошутила с ней на румынском, накормила ребят, и мы тепло попрощались. Они на самом деле мне понравились, поэтому я просто сказал:

- Вы мне понравились.

Оказалось, мы им тоже. Мы попрощались. Я пошел в ванную. Анна-Мария сдернула простыню, застелила новую и, наконец, сняла пальто. Мы поужинали сами, глядя в окно номера на обратную сторону парламента, прикрытого елями и рябинами, и легли спать.

Утром Анна-Мария улетела в Германию, а вечером того же дня мне позвонили. Автобус, в котором она ехала, перевернулся на полном ходу и несся по автобану, сшибая на своем пути автомобили. Целых двадцать семь штук автомобилистов попали в больницу. Бедняги, посочувствовал я, надеюсь, они все живые? Они-то да, сказали мне, и я впервые насторожился. Ну, а Анна-Мария, спросил я. Она-то ведь из тех, кто всегда выйдет сухим из воды. Но они меня разочаровали. Очень. Заодно и веру в удачливость Анны-Марии поколебали. Раз и навсегда.

Сказали, что Анны-Марии больше нет.

40

Звонок был такой резкий, что я вздрогнул.

Я сажусь на кресло Анны-Марии, сую ноги в тапочки Анны-Марии, и думаю, что у меня есть все от Анны-Марии, кроме одного. У меня нет Анны-Марии. Я тупо верчу в руках ключи, которые не забрал ее отец, и после пятого звонка все же беру трубку.

- Наши соболезнования, - без приветствия, сразу говорит мягкий мальчишеский голос.
- Чьи? – тупо спрашиваю я.
- Наши, - повторяет голос, и я, наконец, понимаю
- Откуда вы знаете? - спрашиваю я.
- Мы все знаем, - говорит голос, - наши соболезнования. И от Сергея тоже. Мы с ним встречались, и он очень сожалел, что не мог прийти на похороны.
- Спасибо, - тускло говорю я и спохватываюсь. - Хотите забрать чемодан с...
- Если бы вы могли, то без конкретики. Да, забрали бы, если это возможно, - голос будто извиняется. – Адрес у вас тот же? Улица 31 августа, дом сорок четыре, квартира двенадцать?
- Да, - говорю я. - Что же вы раньше не заходили, если адрес знаете?
- Дела. И потом, не хотелось вмешивать во все это вашу девушку. Это же ее квартира.
- Да... - вспоминаю я.
- Хорошо, - вздыхает голос, - через две минуты у вас во дворе. Я уже тут. Вы спуститесь?
- Можете подниматься, - я вспоминаю об Анне-Марии и не могу говорить. Голос тактично ждет. Я справляюсь с собой. – Все равно ее уже больше нет.

Через две минуты раздается звонок в дверь. Я вижу в глазок невысокого приятного парня. На вид совсем школьник. Правда, когда он заходит в квартиру, то впечатление меняется. Это все глазки. Фигурой он юнец, лицом – постарше. Мягкий, осторожный и, что подтверждается, когда он ненароком касается меня, очень сильный. Он еще раз соболезнует мне и грустно сидит в кресле, пока я вынимаю из шкафа чемодан, где тот был завален всяким тряпьем.

- Спасибо, - говорит он и отказывается от чая, - в таких делах, знаете...

Я выпроваживаю его, закрываю дверь и иду к окну на кухню. Стою, прислонившись лбом к стеклу. Ноябрь. По вечерам погода уже портится. Внизу что-то возится, и я надеваю очки. Это вовсе не собаки, как я думал.

Это захват.

Прямо напротив моего окна мальчика с лицом мужчины валят на землю здоровенные мужики в коричневых кожаных куртках, туфлях с острым носком и барсетками. Униформа молдавского оперуполномоченного. Когда малыша уволакивают в машину, один из громил бросает взгляд на мое окно.

До утра я сижу на кухне, но в дверь не звонят. Я стараюсь не выхолить на улицу, никому не звоню, но за мной не приходят. Никто даже не звонит эти две недели. Потом, наконец, я набираюсь храбрости и выхожу на прогулку. Час в парке, но ко мне даже никто не подходит. Я вспоминаю слова Корчинского о том, что меня все это не зацепит, даже если кто-то и попадется, и успокаиваюсь. Деньги

На следующий день я иду на могилу к Анне-Марии.

41

С утра Стамбул прибило к песку ливнем. Косая гильотина воды разрубила пролив между континентами и вода из-за этого в море как будто кипит. Даже мальчонки нет, так что сегодня я обойдусь без шезлонга. Интересно, прилетит ли Анна-Мария?

Я сажусь прямо на песок и, прикрывая руками лицо, оглядываюсь.

Сегодня я прощаюсь с пляжем, поэтому одет в костюм и лучшие туфли. Зонта, правда, с собой нет, поэтому я выгляжу странно. Как, впрочем, все эти две недели в Стамбуле. Честно говоря, я рассчитывал на то, что дождь прекратится. Поэтому ждал обеда. Но ливень все шел, а прийти сюда мне было просто необходимо, вот я и вышел из гостиницы, хоть портье и умолял позволить ему найти для меня такси. Но я не хотел такси. Я бреду по пляжу, - ничего не видно из-за дождя, и пытаюсь чуть ли не на ощупь найти чайку Анну-Марию. Что, конечно, полный идиотизм. Чайки сообразительные птицы, и под дождем не сидят. Неужели и в этот раз я проиграл, думаю я. Как вдруг дождь прекращается и выступает Солнце.

После похорон я еще два месяца был в Кишиневе. Потом очень быстро нашел себе работу и уехал в Стамбул. Оказалось, что к так называемой нормальной жизни вернуться можно и очень быстро. Очень скоро я с удивлением увидел себя в

костюме, беседующем на темы брендинга, пиара и маркетинга, - про себя я их вечно путал, - с солидными людьми, платившими мне приличные деньги. К счастью, никто из них не знал о моем кладбище Кишинева и о моем пляже Стамбула. А даже если бы и узнал, я бы выкрутился.

Люди творческих профессий имеют право на чудачества, уверены обыватели, а больше всего – обыватели творческих профессий.

Я щурюсь и перестаю что-то видеть на мгновение, но слышу, как на песок плюхается что-то тяжелое. Анна-Мария прилетела. Так и есть, это она. Чайка подбегает ко мне, - видно, не могла пропустить установленный час кормления, - и ждет. Я соображаю, что она хочет увидеть от меня привычных действий. Раздеться, лечь, бросить еды. Но сегодня я ненадолго. Если не уйти с мелководья в глубины, кита может снова выбросить на берег. Тогда уж сил выбраться у него точно не останется. Я и так чудом спасаюсь. Меня подхватил прилив и мне надо спешить, Анна-Мария. У меня был миллион версий нашей любви с Анной-Марией. Но, увы, я, как и все писатели, - люди с большим воображением, - я оказался слишком мнительным. Все оказалось куда банальнее, чем я думал. Я бросаю чайке хлеб, и она улетает. Я кормлю чайку и глажу ее на прощание. Наконец, мы покидаем этот стамбульский пляж порознь, как женатые любовники.

Она улетает.

Я ухожу.

42

Ветер дует все сильнее, и земля из-за дождя скользкая.

Отец Николай пожалел меня, поэтому на второй час забрал лопату и копает сам. Потом снова моя очередь. Мы управляемся за три часа. Постепенно из земли выглядывают веселые почтовые штемпеля и печати. Коричневые сургучные и фиолетовые чернильные. Гроб Анны-Марии. Мы с трудом, - наверняка туда еще и грязь набилась, - вытаскиваем гроб на поверхность. Мне страшно, но я не отступлю. Я уже знаю. Я говорю:

- Анна-Мария, позволь мне похоронить тебя, наконец.

Небольшой монтировкой, которую, с веревкой для поднятия гроба, вынес из церкви священник, я разламываю крышку. И брезгливо, - это же не ты, Анна-Мария, это мусор, - запускаю руки в гроб. Так и есть. Мы высыпаем содержимое на землю и переглядываемся. В гробу была арматура, перевязанная тряпками.

Недурно. Я, честно говоря, думал, что они не удержатся положить туда куклу. Ну, или там, восковую фигурку с запиской. Что-то остроумное. Оригинальное. Все гораздо проще. Священник молчит.

Да и что он может сказать.

Я сажусь на землю, и плачу. Ну, еще бы. Что остается мне. Я вспоминаю то, что вспоминал все две недели, что сидел в квартире Анны-Марии и сжимался от страха. А вспоминал я тот первый раз, когда она мне позвонила на мобильный. Я был у нее дома, а она позвонила и сказала, что улетает. А ведь номера мобильного телефона она не знала. Вообще ничего не знала, кроме имени. Я плачу. Плачу как ребенок. Я говорю:

– Почему. Она. Так. Со. Мной. Обошлась. Что. Я. Мать. Вашу. Ей. Сделал. Что. Я. Мать. Вашу. Вам. Всем. Почему...

Ветер вост.

43

О том, что ее зовут вовсе не Анна-Мария, и о том, что ей не двадцать пять, а тридцать два года, и о многом другом я узнал уже на следующий день.

Они все-таки пришли за мной.

Но это был не арест. Я как таковой, их не интересовал, конечно. Как и Корчинский. Сергею позволили поговорить со мной, и он объяснил, что лучше рассказывать все, как было, чтобы не возникло проблем. И меня не посадят. Оформят как свидетеля. Их интересовали гораздо более крупные парни, а мы с Корчинским были так, даже не пешками. Сергея, кстати, тоже не собирались сажать. Он активно сотрудничал, и его просто собирались сослать в Африку, поработать чуть-чуть, чтобы он о нем тут забыли. Чтобы не пятнать его присутствием репутацию нашей полиции. Корчинского, оказывается, вели давно, и большую партию ему передавали уже полицейские. Так что все было под контролем. Все дело.

– Как и некоторые его рабочие эпизоды, - объяснил мне улыбчивый полковник отдела по борьбе с наркопреступлениями, приехавший из России, это была совместная операция, - которые вы ошибочно могли принять за главное событие всей вашей жизни...

Конечной их целью было затащить покупателей в квартиру, которая была бы нашпигована техникой. В принципе, покупатели были почти убеждены в том, что квартира Анны-Марии чиста, но что-то, - наверное, инстинкт, который у преследуемых всегда обостряется, - не давало им туда войти. Только инсценированная смерть Анны-Марии стала переломом, и они решились. Поэтому мне и оставили ключи. В общем, все было продумано то ли гениально, то ли по-дурацки: это смотря как повернутся события. Ведь я вполне мог не пойти в дом Анны-Марии, и покупатели могли не расчувствоваться...

Но поскольку жертва на приманку клюнула, план объявили гениальным. Что же. Наверное.

Квартира, как я понял, была не ее.

Я надеялся, что, несмотря на все это, секс-то был у нас искренний. И она меня любит. А я – ее. Поэтому, когда страсти улеглись, я сначала, напившись, отправил лже-Анне-Марии несколько оскорбительных сообщений по мобильному телефону, потом, разрыдавшись, в тех же sms, признавался ей в любви. Она не отвечала. Ответил за нее представитель местного отдела Интерпола, в кабинете которого я на следующий день подписывал какие-то свидетельские показания. Он молча взял меня за затылок и треснул лицом об стол, а потом бросил платок и подержал перед глазами телефон. Пока я вытирал кровь, он прокрутил мне все мои сообщения. И очень толково порекомендовал мне этого не делать. Дал расклад:

- Эта отважная женщина, имени которой ты, паскуда, даже не достоин знать, рисковала собой ради других людей. Она мать двоих детей и любящая и любимая супруга. Вполне счастлива. Да, по долгу службы ей иногда приходится иметь дело с грязью, но когда человек чист, грязь к нему не пристает. Не приставай к ней и ты, грязь. После суда уматывай из этого города, если не хочешь проблем! Так будет лучше для всех. Поверь мне.

Я хотел спросить, за каким это рогоносцем она замужем, - конечно, это от слабости, и от обиды, и от отчаяния, - но Анна-Мария взглянула на меня укоризненно. А вместе с ней мальчик, наверное, около двух лет, золотоголовый и очень красивый. Глядели они на меня с фотографии под стеклом. На столе этого самого следователя. Мне все стало понятно, и я хотел сначала извиниться за все, - вообще за все, ведь и ему, наверное, было нелегко, - а потом подумал, какого черта. Сказал:

- Ну и работа у вас, ребята. Бог ты мой...

А он ничего не ответил, только встал молча, оперевшись рукой о лицо Анны-Марии под стеклом, - и еще раз взял меня за затылок и треснул лицом об стол. Вернулся на место, и мы долго молчали. Я уже не боялся. И уже не вытирал кровь.

Потом мы продолжили беседу.

44

Я все же не верил до последнего. Не верил в то, что я для нее грязь и все, что с нами было, всего лишь притворство. Но когда увидел ее в комнате во время суда, понял - да, это правда. Я действительно ничего для нее не значу. И никогда не значил. Встреча была короткой, но мне хватило ее, чтобы все понять, и на следующую же неделю собрать вещи и улететь в Стамбул.

Столкнулись мы в комнате, куда заходили свидетели, чьи лица присяжные не должны были видеть. Конечно, лже-Анна-Мария была таким свидетелем. А я и сопровождавший меня полицейский попали туда случайно. Тут я и увидел ее. Встреча была очень короткой. Буквально за нами следом в комнату ворвались охранники и объяснили сопровождающему, что он ошибся, и посоветовали сразу покинуть помещение.

Мы так и поступили.

А пока охранники разговаривали, мы смотрели друг на друга. Конечно, я разволновался. У меня дрожали руки. Я пытался выглядеть спокойно, но знаю, что у меня ни черта не получилось. А вот у нее получилось. Сначала я вздрогнул и отвернулся. Потом все же искоса глянул на нее. Ей, - я видел это, - было плевать. Она все это время глядела на меня спокойно и в упор.

Даже усмехнулась.

**КОНЕЦ**

***Владимир ЛОРЧЕНКОВ***